

### ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ

● Учреждения Сберегательного банка СССР помогают трудящимся более правильно строить личный бюджет, целесообразнее использовать получаемые доходы.

● Вклады можно пополнять как наличными деньгами, так и путем перечисления сумм из получаемых доходов.

● Для пополнения вкладов безналичным путем необходимо подать в бухгалтерию предприятия, организации, колхоза заявление о перечислении сумм из денежных доходов на счет по вкладу. Во вклад можно перечислять суммы из заработной платы, единовременное вознаграждение за выслугу лет, денежные заработки колхозников, пенсии, средства, причитающиеся населению за проданную государственную сельскохозяйственную продукцию, страховые суммы, выручку за предметы и вещи, реализованные через комиссионные магазины и т. д.

● Безналичная форма пополнения вкладов экономит Ваше личное время.

Сберегательный банк СССР к Вашим услугам!



**ОГОНЁК**

№ 31

1988



*Николай ШМЕЛЕВ*

## ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» №31

Николай ШМЕЛЕВ

# ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1988

## Николай ШМЕЛЕВ

*Николай Петрович ШМЕЛЕВ, писатель и ученый-экономист, родился в Москве в 1936 г. После окончания Московского государственного университета в 1958 г. работал в различных экономических институтах Академии наук СССР. Доктор экономических наук, профессор, автор многих книг по проблемам мировой экономики.*

*Писательская судьба Н. Шмелева складывалась непросто. Первый его рассказ, «Оловянные солдатики», был опубликован еще в 1961 г. в журнале «Москва». Затем последовало длительное молчание, во многом вынужденное. В марте 1987 г. в журнале «Знамя» появилась его повесть «Пашиков дом», сразу же привлекая внимание читателей. Не прошли незамеченными и такие его работы, как рассказ «Последний этаж» («Юность», февраль 1988 г.) и повесть «Спектакль в честь господина первого министра» («Знамя», март 1988 г.). Основная тема его прозы — личность и общество, поиски путей гармонизации их интересов. Многих советских читателей заинтересовала также публицистика Н. Шмелева, в частности его известные статьи «Авансы и долги» («Новый мир» № 6, 1987 г.) и «Новые тревоги» («Новый мир» № 4, 1988 г.).*

## ДЕЛО О ШУБЕ

Часы в большой комнате пробили двенадцать.

Виктор Иванович давно уже пришел к выводу, что лучшими минутами в его жизни были эти ежевечерние полчаса у окна на кухне, когда он в одиночестве выкуривал одну или две сигареты перед тем, как идти спать. Домашние его обычно укладывались раньше, и, как только затихали их шаги по коридорчику из ванной, в квартире устанавливалась тишина. Свет на кухне он не зажигал, предпочитая сидеть в темноте: так лучше было видно пустую улицу и деревья в скверике напротив... Так было и тогда, когда Наташа, их дочь, была маленькой, и когда она росла, ходила в школу, потом в институт, и когда она вышла замуж и переехала жить к мужу, и они с женой остались вдвоем. ...Летом в открытое окно шелестела листва, доносился чей-то торопливый стук каблуков по асфальту, слышалось глухое ворчание поливальных машин или далекий свист троллейбуса, набиравшего скорость по проспекту. Осенью сквозь мокрое стекло он видел, как металась и билась на ветру ветки скрюченных яблонь, состарившихся у него на глазах. Зимой же, как сейчас, улица и сквер покрывались снегом, чисто и колко искрившимся в косом свете уличных фонарей...

Но сегодня дело было уже не просто в привычке. Весь вечер он не находил себе места, еле выдержал до конца очередную серию какого-то длинного телевизионного фильма и даже сделал пару неуклюжих попыток раньше времени отправить жену спать, — так ему не терпелось поскорее остаться одному и наконец спокойно, без помех обдумать то, что ему сообщили на работе еще утром и что весь день не выходило у него из головы.

Виктор Иванович Гребенчиков служил в крупном управлении по монтажу специального оборудования, считался хорошим инженером и пользовался симпатиями как начальства, так и сослуживцев — подчиненных у него фактически не было. В институт он поступил еще до войны, потом с четвертого курса был призван в армию, воевал в корпусной артиллерии, дослужился до капитана, в одну из бомбежек был тяжело (полгода в госпитале) ранен, демобилизован и в сорок седьмом окончил тот же институт, в котором начинал. Сразу после окончания он пришел

в свое управление, тогда еще только создававшееся, и с тех пор — вот уже почти тридцать лет — работал в нем за одним и тем же столом и, по существу, в той же самой должности. Его часто хвалили, премировали, не раз вывешивали на Доску почета, но вверх не выдвигали и никуда всерьез, надолго, не посылали. Последнее тоже было важно, потому что в их системе человек мог вырасти, как правило, только одним путем — если ему доверяли руководство монтажом какого-нибудь крупного объекта на периферии или за границей.

Последнее время Виктор Иванович стал как-то особенно ясно ощущать возраст, часто видел во сне детство, иногда жаловался жене на здоровье: что-то побаливало у него внутри — обычно после тяжелой еды, — что-то неясное, но, видимо, прочно обосновавшееся там, в глубине, по соседству со старой раной в полости живота. По вечерам, сидя у окна, он нередко думал теперь о пенсии, о том, как он будет тогда жить, чем займется, куда они с женой поедут отдыхать, и эти мысли вовсе не пугали его, а, наоборот, вносили в душу успокоение, избавляя от тех утомительных, раздражающих мелочей, которые сами собой накапливались к концу каждого прожитого дня.

Важным вопросом был размер ожидавшей его пенсии. По нынешнему его заработку рядовая максимальная пенсия никак не получалась, а хотелось, естественно, чтобы была именно она, и даже не просто она, а персональная, которая все-таки была немного выше обычной и, кроме того, была каким-то отличием — жизнь ведь никогда не баловала его отличиями. Конечно, честолюбие в нем давно угасло, но... Но все же не до такой степени, чтобы сделать его полностью равнодушным ко всему, что отличает одних людей от других.

Гребенщиков понимал, что надо было уже сейчас предпринимать какие-то шаги, чтобы получить самостоятельную работу где-нибудь подальше отсюда, с отъездом из Москвы года на три, не меньше. Сколько бы он ни думал об этом, никакого другого реального способа обеспечить хорошую пенсию он не видел. К тому же теперь, под старость, такой отъезд можно было позволить себе совершенно безболезненно: Наташа удачно вышла замуж и, кажется, неплохо ладит с мужем, жене — когда-то очень и очень деятельной женщине — работа, судя по всему, давно осточертела, а сам он даже рад был бы сменить обстановку и пожить немного на новом месте. Ведь, по существу, кроме обычных поездок в отпуск и в командировки, он так всерьез нигде и не был после войны. «Пора. Нужно шевелиться. Под лежащий камень и вода не течет», — все чаще и чаще говорил он себе, перебирая в уме имеющиеся возможности.

Как раз недавно на одном из крупных объектов открылась очень заманчивая вакансия. Гребенщиков прослышал о ней стороной и сейчас же решил, что это именно то, что ему нужно было. У него, конечно, имелись кое-какие связи: некоторые из его однокурсников работали вместе с ним и были теперь в довольно заметных чинах, но раньше он

практически не пользовался этими знакомствами, сам в общем-то не зная, почему. Может быть, это было и к лучшему... По крайней мере сейчас он мог с чистой совестью обратиться к любому из них и знал, что ему не откажут.

Ближе всех к нему был Гриша Шокин — стариннейший его приятель, с которым они в свое время немало просидели в пивных и в иных местах, где так весело тратились тогда убогие студенческие рубли. И сейчас они нет-нет, да и вспоминали старину, заскочив после получки или премии в какое-нибудь тихое и достаточно удаленное заведение, до которого их сослуживцы, по нетерпению своему, обычно не доходили. Как он и ожидал, Шокин не только не отказал, но, наоборот, проявил самое искреннее участие и обещал сделать все, что в его силах.

Однако сегодня утром Шокин остановил его в коридоре и, глядя куда-то в сторону, спросил:

— Послушай, можешь ты мне объяснить, что за случай у тебя был с шубой?

— Какой шубой? — не понял ничего Гребенщиков.

— Не знаю, какой. Поэтому и спрашиваю. Ну-ка, поройся в памяти. И ради бога не темни, сейчас не до этого. Должен сказать, что шансы у нас с тобой неплохие, но все упирается в эту шубу.

— Да какая шуба? Ты мне хоть скажи, о чем речь.

— Говорю тебе, не знаю. Знаю только, что на твоей личной папке поперек обложки красным карандашом написано: «Дело о шубе?» Подчеркнуто, и два знака в конце — вопросительный и восклицательный. И ничего больше, никаких уточнений — ни на обложке, ни в самой папке. Только дата стоит — декабрь 1947 г. Я пытался узнать, никто толком ничего не знает. Пошел даже к ... ну, не важно, к кому... Есть тут у нас один Пимен-летописец, хранитель преданий. Все помнит... Но и он не знает. Вспомнил только, что тогда, в те годы, тебя не раз выдвигали на разные должности, и каждый раз одно и то же: «А что за история у него была с шубой?» Начальство спрашивает — ему никто ничего не говорит, все молчат. Может, и вправду никто не знал, а может, впутываться не хотели... Ну, а дальше сам знаешь, как: «Нет? Никто доложить не может? Ладно, отложим до следующего раза. Нам не к спеху». А потом уж и спрашивать перестали ... Кто написал, почему написал — ничего не известно. Может, этого человека и в живых давно нет, кто написал. Но надпись-то осталась, она действует! Пока мы с тобой этот карандашик не сотрем, ничего не выйдет.

«Боже мой, да неужели это?» — думал Гребенщиков, оставшись наконец один. Усаживаясь, он привычным движением пододвинул табуретку к окну, но сейчас же вспомнил про открытую дверь на кухню и, встав, притворил ее, чтобы табачный дым не расползлся по квартире. Жена иногда ворчала на него по утрам, утверждая, что даже занавески в большой комнате и те пропахли его табачищем.

Дом их был старый, тихий, с толстыми стенами: ближе к полуночи, когда жизнь замирала, можно было, напрягая слух, ухватить лишь слабые звуки радио, доносившиеся откуда-то сверху или сбоку. Дом был до того тихий, что лет десять назад у них на кухне, на антресолях, даже поселился сверчок. Виктор Иванович довольно скоро привык к нему и полюбил, тем более что он, умница, редко обнаруживал себя при других, предпочитая час, когда они с хозяином оставались вдвоем. Но потом в какое-то лето их слишком долго не было в городе, сверчок исчез и больше уже не возвращался.

«Неужели это? Неужели эта история, случившаяся двадцать пять... нет, двадцать семь лет назад? — думал Гребенщиков. — Не может быть. Это же как в дурном сне... Но что же другое могло быть? Ничего другого и не было...»

Жена его с того самого дня слышать не могла ни о какой шубе и всякий раз, изнашив одно, шила себе другое пальто с меховым воротником у знакомого портного на Петровке... Тогда, в какой-то хмурый ноябрьский день, они с Линой (полное имя жены было Алина) пошли по магазинам, имея при себе довольно крупную по тем временам сумму денег... Тесть хотел подарить дочери на свадьбу что-нибудь существенное, нужное в хозяйстве, но второпях не сумел ничего найти, расстроился и в конце концов сунул ей в руку конверт с деньгами: распорядитесь-ка лучше сами, как сочтете нужным, вам виднее, жить-то вам, не мне... В ту осень все говорили о денежной реформе, народ словно осатанел, хватали все, что появлялось на прилавках. Войдя в меховой магазин на Сретенке, они с Линой сначала даже не поверили своим глазам: за прилавком, длинно в ряд, висели черные подкотиковые шубы, и никакой толпы вокруг не было. Кажется, это было сразу после обеденного перерыва: Сретенка, наверное, просто не успела еще ничего разносить. Лина померила — шубка ей подошла, Гребенщиков заплатил деньги в кассу, взял сверток с шубой, а вот дальше произошло нечто необъяснимое: как, зачем он положил сверток на прилавок, что его отвлекло, почему он отвернулся, какие секунды это продолжалось — ни тогда, ни потом он ничего толком вспомнить не мог, и Лина тоже ничего не заметила.

Сверток исчез.

Когда он рассказал о случившемся на работе, все, конечно, сочувствовали ему, особенно женщины. Но для большинства из них шуба была тогда чем-то до того недостижимым, что весь рассказ его воспринимался скорее как какое-то происшествие из жизни Мэри Пикфорд или Греты Гарбо, и он чувствовал, что некоторые не то чтобы не верили, а просто испытывали какую-то неловкость, неудобство за него и даже стали посматривать на него вроде как на чудака — не луна, нет, а как на человека, неожиданно обнаружившего вдруг склонность к мечтаниям и фантазерству. Со временем он и сам начал сомневаться: полно, да было ли это вообще, не приснилась ли ему эта проклятая шуба? Нет, как

видно, не приснилась, если след от нее обнаружился даже вон где — в его бумагах и через столько лет...

«Сказать Лине, нет? — думал он. — Если сказать, расстроится, замолчит... Странная она какая-то стала. Томится, плачет ни с того ни с сего, придет с работы — ляжет и лежит, и ничем ее не растормошишь. Отчего плачет? И сама, наверное, не знает, отчего. Так, старость подходит, не нужна больше никому... Разве что мне... Наташка тоже хороша — последний раз не позвонит, не спросит: как вы там, живы еще, старики? Вырастали, называется... А сказать, пожалуй, надо. Многое бы, Алина Георгиевна, это прояснило в нашей с тобой жизни. Долгой жизни, непростой...»

Начинали они легко, весело, а вот дальше... Впрочем, что ж дальше?.. Дальше все пошло, наверное, как у всех... Да нет, это только говорится так — как у всех... На самом-то деле жизнь у каждого своя, и боль своя, и никакое это не утешение, что у других тоже нелегко, тоже не очень складно, а у иных и совсем не складно...

Когда они поженились, Алина ходила королевой, и подруги откровенно завидовали ей. Война недавно кончилась, ребят вокруг было мало, то есть были, конечно, но все какая-то семнадцатилетняя мелюзга или инвалиды: демобилизация по-настоящему еще не развернулась. Гребенщиков и вообще-то был недурен собой, а на этом фоне — черноволосый стройный парень в офицерском кителе с орденскими планками на груди, спокойный, уравновешенный, говоривший на равных и с деканом, и с профессорами, он, естественно, привлекал всеобщее внимание. Даже очень красивые девушки, знавшие, что они красивы, и никогда ни перед кем не опускавшие головы, и те нередко смущенно отворачивались, столкнувшись с ним взглядом где-нибудь в аудитории или на лестнице. Что уж тогда говорить о тех сереньких мышках, — а их было большинство, — которые жались по углам, не зная, куда девать свои потрепавшиеся, не по годам натруженные руки... Брак их с Алиной был потом предметом долгих пересудов в институте. Многие считали, что с его стороны это был мезальянс: по их мнению, он мог бы найти себе что-нибудь и поважнее...

Когда, как родилось у нее это легкое пренебрежение к нему, когда оно превратилось сначала в скрытое, а потом и в откровенное презрение, когда презрение уступило место равнодушию, покорности судьбе, сейчас, спустя много лет, установить это было невозможно. Оглядываясь назад, он видел только длинную череду годов, стертых, потускневших и похожих друг на друга до неотличимости.

Может быть, все началось после того, как родилась дочь? Лина тогда впала в состояние тупого, непреходящего ожесточения: теснота, ночной плач, бутылочки, спиртовки, бесконечные тазы со стиркой, веревки с пеленками по всей квартире, выдуманные и невыдуманные болезни этого крохотного, беспрестанно орущего о чем-то существа, — казалось, выхода из этого нет и не будет никогда. Сам он в те дни ничего не вы-



зывал у нее, кроме постоянного раздражения на его неловкость и неумелость. Если бы он провалился вдруг сквозь землю, она, наверное, только вздохнула бы с облегчением: по крайней мере не надо было бы думать, чем накормить этого чужого, ненужного человека, занимавшего столько места везде — на кухне, в комнате, даже на лестничной клетке, куда она выгоняла его курить и где он каждый раз с грохотом стукался о коляску, выставленную за порог. Когда он приходил с работы, в дверях его встречал бессмысленный, невидящий взгляд, застиранный халат ее был неизменно застегнут не на ту пуговицу, и любые попытки его что-то рассказать, чем-то поделиться кончались всегда одним и тем же: не дослушав, она срывалась с места и бежала то в ванную, то в их комнату, где опять что-то было не так и где опять стоял крик. Продолжалось это год или два, пока не пристроили Наташку в ясли.

И все-таки началось все не тогда. Нет, не тогда... Виктор Иванович вспомнил то тихое лето, когда они с Алиной остались наконец вдвоем. Старики переехали на дачу, взяв с собой на этот раз и Наташку, уже научившуюся ходить.

Что-то тогда нашло на них обоих, какая-то отчаянная, ненасытная жадность вдруг охватила их. Стоило им только прикоснуться друг к другу, как сейчас же обоих начинало бить с ног до головы, одежда летела в стороны, и в ту же минуту, разом, они проваливались в какую-то яму, и... И греми тогда все пушки мира у них над ухом. загорись дом, войди кто угодно и встань у них над головой, ничто не могло бы их в те секунды оторвать друг от друга, остановить эту муку, ради которой человек порой забывает все... Потом они вместе уехали в отпуск, в какую-то деревушку на правом берегу Волги. И здесь было то же самое, что и там, в Москве: «угрюмый, тусклый огонь желанья» настигал их всюду — на пляже, в лесу, на ступеньках крыльца той развалюхи, где они поселились вдвоем... Сколько же это продолжалось? Долго, наверное: по крайней мере он и сейчас еще помнил, с каким нетерпением они тогда, уже осенью, дожидались, пока Наташка, а потом и старики за стеной заснут.

Но как пришло это, так и ушло — само собой, без даты и без причины...

После той встряски не только месяцы — годы целые не запомнились, по существу, ничем. Работал, водил Наташку в сад, потом в школу, купал ее, рассказывал ей на ночь сказки, выпивал с друзьями, смотрел телевизор, возил на дачу продукты (тесть каждое лето снимал дачу в Кратове), осенью выбирался иногда в лес по грибы... Что же еще было тогда? Умер Сталин, через три года отпустили всех, кому в свое время так не повезло, потом была какая-то нелепая история с кукурузой... Конечно, он тоже переживал тогда, спорил с тестем и друзьями, пытался заглянуть в будущее, представить себе, куда, к чему это все приведет, чем кончится, что мимолетно, а что всерьез и будет до конца его жизни и даже дольше. Но особым воображением он, признаться, не обладал,

масштабы событий, их огромный, таинственный смысл были не по силам ему, и все всякий раз кончалось тем, что мысли его потихоньку, привычным образом сворачивали на другое, на то, что составляло заботу сегодняшнего или ближайшего дня. Наверное, так получалось потому, что не эти события были самым важным для него в то время, но вот что тогда было для него самым интересным, что было важнее всего — и сейчас, спустя два десятка лет, он не знал. Да только ли он один? Люди и тогда рождались, женились, умирали, бегали, высунув язык, по делам, ходили на футбол, валялись на траве, смотрели в небо...

Жили они в то время трудно — от зарплаты до зарплаты. Его родителей уже не было в живых, а ее старикам и так нужно было сказать спасибо хотя бы уже за то, что они, собрав последнее, построили себе новую квартиру, а эту оставили им. Да и не мог же он, фронтовой офицер, человек с высшим образованием, в тридцать с лишним лет позволить себе сидеть на чужой шее! Алина, правда, нет-нет да и перехватывала у матери сотню-другую, но он каждый раз сердился за это на нее, и надо отдать ей должное — случалось это нечасто.

А, к черту... И вспоминать не хочется про ту зеленую нищету... Вечное отсутствие денег, какие-то комбинации с перешитым тряпьем, унижительные угрызения совести за каждую лишнюю пачку сигарет, за каждую бутылку, выпитую тайком от жены... Помнится, как-то раз они чуть ли не все лето проговорили о том, купить ли вместо сломавшейся настольной лампы новую сейчас, с этой полочки, или подождать до осени, когда без нее уже не обойтись, потому что станет темно...

Пока всем вокруг было тяжело, Алина в общем-то принимала это как должное, и в то время он не мог бы поставить ей в вину ни одной ссоры или даже размолвки о деньгах. Но жизнь менялась, и постепенно в глазах ее появлялось недоумение, появился вопрос, обращенный не в пространство, а напрямую к нему: «Ну, так что же ты? Так и будем жить дальше? Неужели ты ничего не можешь предпринять? Ты, такой всемогущий, такой выдающийся, когда я выходила за тебя?»

Однажды их занесло в гости к его однокурснику, с которым они не виделись несколько лет. Алина вернулась в тот вечер больная. Фантастическое, немыслимое великолепие квартиры, где они только что были, раздавило ее. Ковры, люстры, тускло коричневая мебель, хрусталь на столе, серебряное ведерко под шампанским... Она долго потом лежала на кушетке и плакала, уткнувшись головой в подушку. Тогда ей еще было совестно этих слез, она ничего не отвечала на его утешения, только отворачивалась к стене. Впрочем, одну фразу в ее бессвязных всхлипываниях и бормотании он все же разобрал: «Он же был самый последний на курсе... Самый никудышный. Барахло...»

Нельзя сказать, чтобы Гребенщиков так сразу и смирился с тем скромным положением, которое ему определила жизнь. Поняв через какое-то время, что ему по его службе, как тогда выражались, ничего не светит, он не раз пытался подыскать себе что-нибудь другое, наводил

справки и даже, случалось, вел вполне конкретные переговоры с вполне конкретными людьми. Но... Надо было все менять, уходить с насиженного, а гарантий, что на новом месте будет лучше, естественно, никто ему дать не мог, и, значит, надо было рисковать, бросать удобное и привычное ради каких-то смутных, неопределенных надежд, и, подумав, он каждый раз отступался, а потом, поближе к сорока, и вовсе прекратил всякие поиски и разговоры на этот предмет... Видно, так уж было написано ему на роду. И, кроме того, ему действительно нравилось подходить каждое утро к одним и тем же дверям, здороваться со знакомым вахтером, подниматься вместе с толпой сослуживцев по лестнице на свой этаж, потом, услышав звонок, без суеты и спешки раскладывать на столе бумаги и медленно, пользуясь первой утренней тишиной, погружаться в мир, где все было четко и ясно, где были формулы и машины и где любую неудачу или ошибку можно было не только установить, не только понять, но и устранить.

Был и такой период в его жизни, когда он всерьез решил поправить свои дела, защитив диссертацию: выбрал себе тему, притащил из библиотеки кипу журналов, накупил разных нужных и ненужных книг... Потом, через несколько лет, Алина безжалостно выбросила все это на свалку: он только усмехнулся тогда и даже не протестовал... Почему так получилось? А черт его знает, почему. Война ли отняла у него силы или их и не было никогда?..

На работе Гребенщиков, как и все, должен был, естественно, сидеть от звонка до звонка, и на всякие приватные увлечения ему оставались только вечера и воскресные дни. Месяц-другой он еще попытался потянуть этот двойной воз, но вскоре скис. Опытные люди советовали ему: придешь домой, перекуси и обязательно поспи часок, а потом уж ни за что не отрывайся от стола, что бы ни случилось в доме, — ничего страшного, подождут, дело важное, ради них же, должны понять. Легко сказать — должны... А Наташка встречала его в дверях такими глазами, так простодушно радовалась ему... И как раз в то же самое время в нем вдруг обнаружилась одна способность: он удивительно удачно стал мастерить из дерева забавные фигурки. Наташка была в восторге от них, укладывала их с собой спать и с тех пор не признавала больше никаких магазинных кукол. И еще каждый вечер нужно было выдумывать ей какую-нибудь новую сказку: рассказывал он обычно невероятную чепуху, даже совестно сейчас вспоминать, но она ждала этих сказок и ни за что не засыпала без них. Попрощавшись с ней, он наконец садился за стол, но сейчас же, как нарочно, начинал звонить телефон, потом жена звала пить чай, и не успеешь оглянуться — уже двенадцать, надо ложиться спать, не идти же завтра на работу с чугунной головой... Как там в Евангелии? Домашние человека — враги его? Да, значительная мысль... Очень значительная мысль... А только так ли оно на самом деле? Да перед тем же богом, если он есть, что важнее? Никому не нужная диссертация,

или размышления о спасении души, или его возня с Наташкой на полу, у тахты в спальне? Попробуй-ка, скажи...

А, вот оно где... Вот откуда все началось... Да нет... Почему именно отсюда? Это ведь тоже родилось неспроста, не на голом месте...

Однажды Алина пришла с работы поздно, угрюмая больше, чем обычно. Что там стряслось у нее в тот вечер, он до сих пор не знал. Они с Наташкой сидели за столом в большой комнате и мастерили из дерева турка. Помнится, он как раз пытался насадить свежеструганную голову в тюрбане на штырек, загнанный в его пузатое туловище. На столе стояли и другие его поделки, которые Наташка притащила из спальни: дед с кошелкой и палкой, торговка бубликами, шарманщик с попугаем... Алина долго стояла рядом, смотрела на них и вдруг, не говоря ни слова, одним внезапным, каким-то диким жестом смахнула все это со стола и выбежала вон. Голова турка покатилась под диван, бублики рассыпались, а дед вообще раскололся пополам. Они с Наташкой оторопели... Потом Алина долго плакала, просила прощения у них обоих, говорила что-то про усталость, про измотанные нервы...

Вскоре у нее появился любовник. Виктор Иванович быстро заподозрил неладное: вроде бы ничего особенно и не изменилось, и никаких фактов не было, но откуда-то взялась вдруг непонятная, сосущая тоска, беспокойство, желание схватить шапку, выскочить вон на улицу и куда-нибудь уйти, уйти... Куда? Да никуда. Куда глаза глядят... Может быть... Может быть, потому, что взгляд стал у нее иной — вовнутрь: сытый, спокойный, наполненный до краев... Или голову стала держать по-иному, как чужая... Или в руках, иногда еще обнимавших его, появилось что-то скованное, тяжесть какая-то, будто поднять их было — усилие, и свести на шее у него — тоже усилие, требовавшее вначале включения каких-то трансмиссий и рычагов...

Ну, а потом пошло-поехало... Первое время еще была какая-то немелая ложь, а дальше уж и лжи-то не было никакой... С каждым днем Алина все больше нагнела, приходила домой почти ночью, иногда пьяная, вся какая-то растрепанная, растерзанная, то в спущенных чулках, то в незастегнутом лифчике, а однажды явилась и вовсе без него, и всегда от нее пахло чужим потом и еще чем-то таким, от чего у него сразу темнело в глазах... Ванны, что ли, не было там, у него?.. Иногда она, вернувшись, тут же, молча, не говоря ни слова, забиралась к нему в постель (он перебрался спать в большую комнату), и он... И он не прогонял ее.

Может быть, отсюда и родилось это презрение?.. Нет, бабы все-таки жестокий народ: ну, разлюбила, ну, спугалась с другим — ну, так хоть смягчи, сглади, пощадь, ведь человек же рядом с тобой, дочери твоей отец... Нет, надо было еще и раздавить его окончательно, уничтожить, в грязь втоптать: я вот пришла, а ты лежишь и ждешь, и сейчас я к тебе лягу, а ты не выгонишь меня, потому что ты ничтожество, и теперь моя над тобой полная власть... Однажды он не выдержал — избил ее. Бил глухую, плотно затворив в комнату дверь, бил молча, об углы, об сте-

ны, не щадя ничего. Утром на нее страшно было смотреть. Две недели она не показывалась нигде, отлеживалась на диване: всем сказали — автотатастрофа. А после... А после этого стало еще хуже. Алина окончательно распоясалась: теперь она могла позвонить по телефону, дать указания, чем накормить утром Наташку, и не прийти ночевать совсем.

Выяснить, кто у нее был, не составило особого труда: мир-то тесен. Оказалось, какой-то орел с ее работы, разумеется, моложе его, да и ее. Надо думать, жениться он на ней не собирался, иначе она, несомненно, ушла бы тогда к нему. Да и то сказать: ей было в ту пору уже порядком за тридцать, а парень он, по слухам, был шустрый, такого голыми руками не возьмешь... И жалко ее было, и стыдно за нее, а сделать ничего он не мог, мог только ждать, пока все это кончится, пока этот парень не выгонит ее совсем. Ведь и морщины уже поползли у бабы под глазами, и тело начало обвисать... Вот он и ждал. Сколько сигарет тогда он выкурил по ночам, у окна на кухне, сколько мыслей разных передумал обо всем... Чего только не лезло в голову: самому уйти, начать все заново, его ли где-нибудь прихватить, душу вытрясти из него... Даже убить ее хотел: пропади все пропадом, не задалось — так не задалось, вырастят старики Наташку и без них, с голоду не умрет... Но в редкие минуты просветления он и тогда понимал, что никуда он не уйдет и ничего с ней не сделает и в конце концов простит ей все... Что ж там говорить. Любил он ее... Э, да что может объяснить это слово «любил»? Слова эти все менять пора. Не говорят они ничего... Дом было больше всего жалко, какой-никакой — его дом... А она и была для него и тогда, и всегда — дом.

Раз как-то они напились с Шокиным в ресторане, основательно напились, даже портфель и папку там забыли, пришлось возвращаться потом. Гребенщиков рассказал ему тогда все, сил больше не было терпеть, хотелось услышать хоть одно человеческое слово, да и стесняться некого было — сидели они вдвоем.

- Ну, так уйди, — сказал тогда Шокин, выслушав его.
- Не могу.
- Ну, так прости.
- Не могу.
- Врешь, простишь.
- Правда, вру. Прощу... И сам знаю, что прощусь.
- Ты простишь... А я бы вот не смог.
- Нет... Я смогу...

Шокин долго молчал. Потом, как-то вдруг печально и совсем не по-пьяному посмотрев на него, сказал:

— Витя, а знаешь ты кто? Ты великий человек... Ты подлинно великий человек. И единственный, кого я знаю... Нет, был еще один великий. Но то в литературе...

- Кто?
- Алексей Александрович Каренин.

— Это почему?

— Потому что он был великодушен — вот почему. А вокруг него была всякая мразь, мелочь пузатая... Вроде меня... Я, Витя, не великий человек. Я дерьмо. Но я тебя люблю...

Продолжалось так года два или даже три. Потом незаметно все как-то наладилось вновь, все более или менее успокоилось, утряслось. Она почти перестала пропадать вечерами, и от нее теперь очень редко пахло вином, когда она возвращалась домой. Она опять стала таскать его по родственникам и на всякие развлекательные мероприятия у себя на работе, сердилась, когда он от этого отбрыкивался, заставляла его менять рубашки и галстуки, выходила из себя, если не могла сразу найти что-то нужное в их всегдашнем беспорядке, кричала, что она им с Наташкой не прислуга, чтобы убирать за ними повсюду, что их даже на день нельзя оставить вдвоем... Ее вскоре выбрали на работе в какой-то комитет, и теперь по вечерам она часами висела на телефоне, обсуждая всякие служебные интриги и неурядицы. Но они с Наташкой скоро привыкли и не обращали на это особого внимания, разве что иногда понимающе улыбались друг другу: обычно он в таких случаях лишь посиленнее поворачивал в телевизоре звук, потому что голос у Алины был все-таки не очень приятный, резковатый, а когда она возбуждалась — то и просто пронзительный, так что хотелось или уши заткнуть, или обогреть ее совсем.

Нельзя сказать, чтобы она стала очень добрее к нему, нет: так, дескать, живет кто-то рядом, ну и живи, бог с тобой, куда ж тебя деть, на улицу-то ведь не выгонишь... Иногда она сама, выйдя в халате из ванной, молча брала его за руку и уводила за собой в спальню. Там теперь вместо прежней продавленной тахты стояли две кровати полированного дерева. «Все, как у людей», — не удержавшись, связвил он, когда их привезли... Про то же, что было, они никогда не говорили; таков был молчаливый уговор, и они соблюдали его, хотя, конечно, оба думали об этом много, и ночами тоже думали, особенно в первое время, и он долго еще потом замечал у нее слезы на глазах, хотя явных поводов для них вроде бы и не возникало, по крайней мере с его стороны.

Кажется, и потом у нее еще что-то было — уже с другим или с другими, — если, конечно, чуть не обманывало его. Но новые эти увлечения выглядели какими-то очень уж безобидными, несерьезными в сравнении с тем, что было прежде: они ничего не меняли в их жизни, так только, немного оживляли Алину, и он не удивился бы, если бы вдруг как-нибудь обнаружилось, что в них, кроме вздохов и прощаний в подворотнях, и не было-то ничего, ну, разве что самая малость, чепуха какая-нибудь, накоротке, наспех, звеня чужими ключами и оглядываясь на часы...

А сдала она почти сразу, в один год: ей тогда уже было за сорок, и он вдруг — бог его знает почему, но очень уж явственно, вроде как при внезапной вспышке света в темноте — увидел, что рядом с ним жи-

вет пожилая расплывшаяся женщина, с тяжелым задом и толстыми ногами, переваливающейся походкой, плохо покрашенными волосами, вечно в какой-то нелепой шляпе, на которую неловко, совестно было даже и смотреть. Он всегда мучился из-за этих шляп, когда им надо было идти куда-нибудь в гости, но сказать ей так никогда и не решился, все-таки жалко было бабу, да в этом возрасте и не переделаешь никого.

По-видимому, она и сама, наконец, взглянула на себя трезвыми глазами, и вот тогда-то, наверное, она и смирилась окончательно, тогда-то и началось это равнодушие ко всему и ко вся, которое хоть и вгоняло его порой в тоску, но в общем-то, надо признаться, устраивало его. Спокойней так было, вот в чем все дело, ведь и он тоже устал, тоже ничего не хотел теперь, кроме тишины: одна война чего стоила, да и потом... Да и потом никаких особенных балов и маскарадов что-то не вспоминалось... Нелегко прошла жизнь, что там говорить...

Но и он был не святой, были и у него, конечно, разные минутные истории... Да у кого их и не было? Жизнь есть жизнь, всякое в ней бывает, и он такой же человек, как все, не лучше и не хуже других. Но в одном он по крайней мере чист: никогда ни одна из этих историй не отразилась на его домашних — ни в грубом слове, ни в деньгах, ни в чем-нибудь еще, так что ни Алине, ни Наташке не за что на него жаловаться, совесть его спокойна перед ними... Правда, был и у него момент, когда он еле удержался, чтобы не пустить все к такой-то матери. Но ведь пересилил же себя, отступился... Эх, да надо ли было отступать-ся? Вот вопрос... Впрочем, праздный вопрос. Что было — то было, и нечего сейчас попусту душу травить, ничего назад-то уже не вернешь...

С Верочкой он познакомился в стоматологическом кресле, когда ему чинили одни и выдирали другие зубы, чтобы сделать первый в его жизни мост. Наверное, он тогда представлял не очень-то приятное зрелище: сорокалетний, начинающий лысеть мужик с выпученными от страха глазами и дырявым ртом, по краям которого торчали остатки мелких, до черноты прокуренных зубов. Месяца два, пока длилось протезирование, ему было отчего-то невыносимо стыдно за себя, как будто он сам был виноват в том, что и голова у него плешивая, и зубов многих уже нет, и мешки под глазами теперь уже почти не проходят никогда, даже если накануне и не пил.

Верочка работала сестрой в этом кабинете. Вскоре она начала улыбаться ему как знакомому, и однажды, когда врача вызвали куда-то надолго, они очень тепло поговорили с ней о разных пустяках, так что под конец он даже решился пригласить ее встретиться вечером и куда-нибудь пойти. Помнится, она охотно, без тени жеманства, приняла его приглашение, а вечером пришла в срок, без опоздания, и — черт знает что, но действительно так и было! — увидев его, вытащила из-за спины букетик гиацинтов и вручила ему: дело было в марте. Потом, в ресторане, букетик этот стоял перед ними весь вечер, и, уходя, он, чтобы не заморозить, завернул его в бумагу и взял с собой.

Ей было тогда лет двадцать шесть-двадцать семь, она была стройна, миловидна, по-своему даже красива, но не дразнящей красотой, а тихой, мягкой — той, которая не пугает, не отталкивает, но, надо признаться, особенно и не привлекает никого... Почему он тогда пригласил ее? Да потому, наверное, что хотелось убедиться, что он еще на что-то годеен, кому-то нужен, что не все позади, а есть еще что-нибудь и впереди, и в тираж выходить еще рано... Все-таки человек по природе своей глуп: это в сорок-то лет думать о выходе в тираж, печалиться, расстраиваться — тогда сейчас-то что прикажете говорить? Показал бы кто тогда ему, сорокалетнему, его сейчас: вот он где — тираж, тут уж ничего не скажешь, и проверять ни на ком не надо, достаточно просто в зеркало взглянуть...

Милый она была человек, ласковый, и в комнате у нее всегда было тихо, хорошо: правда, квартира была коммунальная и, по существу, в полуподвале, но как-то так сумела она устроить, что все у нее было уютно, светло, ничто не беспокоило, не раздражало глаз — вся комната ее была такой же приветливой, как она сама. Белые кисейные занавески на окнах, гравюры по стенам, полка с книгами, большое покойное кресло в углу, в котором, если потеснее прижаться друг к другу, они могли поместиться и вдвоем... Верочка жила одна: она и выросла-то сиротой, без родителей, под присмотром какой-то чудаковатой тетки, старой девы, из тех, которых до сих пор еще можно встретить иногда в диетическом на Арбате. К тому времени тетка уже полуослепла, и Верочка ходила навещать ее. Виктор Иванович обычно провозжал ее до самого теткиного дома, а предварительно они всегда заходили в «Прагу», покупали там что-нибудь из еды и обязательно коробку пирожных, кажется, эклер, тетка их любила.

Как он ждал тогда этих встреч, как нетерпеливо глядел на часы, дожидаясь проклятого звонка, чтобы чуть не бегом скатиться с лестницы и через десять, нет, через семь минут быть уже у нее! Как раз в то время ему, наконец, повысили зарплату, повысили значительно, но Алине он сказал, что появилась солидная, постоянная халтура, которую грех терять, так что ему придется теперь частенько задерживаться вечерами на работе; поверила ли она, нет — кто ее знает, во всяком случае, возразить она ничего не возразила, а он в лишние объяснения не вдавался, да у них это и не было заведено... Верочка никогда ничего не требовала от него, и этих дополнительных денег хватало ему тогда на все: и на какие-то пустяки для нее, и на вечер-другой в ресторане, и дома тоже довольно быстро почувствовали, что с деньгами стало теперь все-таки полегче... Счастливое было время! Может быть, только оно и было счастливым у него...

Верочке достаточно было любой, пусть самой крохотной удачи, чтобы обеспечить ей веселое настроение на весь вечер, а то и на целые дни вперед. Сначала он даже и не верил, что так бывает, и, к стыду своему, иногда думал, что она зачем-то притворяется перед ним.



— Знаешь, — бывало, улыбаясь, говорила она ему еще в дверях, — знаешь, кого я сегодня видела? Не поверишь.

— Кого?

— Лемешева! Прямо на улице. Шел в шубе, и с ним дама была, такая элегантная...

— Ну и что?

— Как что? Я ведь его в первый раз вот так, живого, видела. Постарел, конечно, но все равно... Правда, здорово, да? Ну, что же ты молчишь?

«Почему Лемешев? Какой Лемешев? И зачем она это мне?» — недоумевал Виктор Иванович, ожидая дальнейших объяснений. Но она и не пыталась ничего объяснять, видимо, даже не понимая, как же можно такие вещи объяснять, тем более ему... Конечно, можно было бы и тогда, и сейчас пожать плечами, сказать, что ерунда, пустяки — действительно, какой там еще Лемешев? Верно, пустяки. Ну а жизнь-то из чего состоит? Не из пустяков? Эх, горевать-то мы все умеем, и еще как, а вот радоваться — многие ли умеют? Многим ли это дано — радоваться, тем более пустякам? Нет, разве что задним числом, оглядываясь назад, когда все прошло... Но какая же это радость, когда все прошло? Это опять страдание, а не радость... Интересно, сохранился ли у нее этот божий дар до сих пор, или жизнь и ее тоже задавила, как других?

Им настолько было хорошо вдвоем, что они редко когда выходили из ее полуподвала. Да наплевать, что там делается наверху! Что они там не видели? Ну, снег, ну, слякоть, ну, люди мечутся туда-сюда... А здесь тепло, и никто им больше не нужен, и так хорошо, славно сознавать, что никто в целом мире не знает, что они здесь, а чтобы уж совсем спрятаться от всех, можно задернуть шторы и погасить свет, оставить только маленький ночник в углу.

Вот где нужны были его годы: можно было прижать ее к себе и защитить — от кого, от чего, неважно. Ведь ясно же, что от кого-то или от чего-то нужно было защитить. Ну, а он мог защитить... Как-то раз она даже призналась ему, что с тех пор, как начались их встречи, она двух слов не могла сказать ни с кем из своих сверстников. «Вита, если бы ты только знал, какие они все дураки... Боже мой, какие дураки...» — повторяла она, и почему-то казалось, что она сейчас заплачет.

А время шло, и надо было уже на что-то решаться, решаться все-рез. Гребенщиков понимал, что заедает ее век, что ей уже тоже не семнадцать, и мучился этим, казнил себя, проклинал, но решиться ни на что не мог... Ну почему, почему хорошим людям всегда не везет? Ведь иной раз посмотришь: сама-то мордоворот и жадная, злющая, как хорек, а такого молодца отхватила себе, что только диву даешься: куда он, болван, смотрел, что нашел в этой ведьме?.. Ничего не поделаешь, так устроен мир... Да, мир... Мысль-то, конечно, верная. Да только от нее, признаться, не легче никому.

Так никогда, святая душа, она и не дождалась от него того, чего хотела. Наконец пришел день, которого он так боялся — он и не мог не прийти. В тот вечер он, кажется, был уже в пальто, когда она сказала:

— Витя, мне сегодня сделали предложение...

Все поплыло перед глазами, сердце куда-то скакнуло и разом провалилось, и он долго хватал воздух ртом прежде, чем догадался достать из бокового кармана валидол...

— Кто?

— Один наш доктор. Он давно равнодушен ко мне...

— А что ты?

— Витя, не знаю... Я не люблю его... Но ведь мне тридцать...

В ту ночь он первый и единственный раз за всю свою семейную жизнь не пришел ночевать домой. Утром они сидели за столом, курили, пили кофе... «Все. Все кончилось...» — только одно и было в голове. Потом почему-то мелькнула мысль: «А если бы Наташка вдруг умерла — так же бы было?» Но он отогнал ее... И еще подумалось тогда, что пощады от жизни больше уж не будет, впереди только одна дорога, прямая, короткая дорога... Куда? Ясно, куда. Туда — не сворачивая ни на какие обочины и не обманывая уже больше ни себя, ни других...

Теперь у него было два любимых занятия — ходить по грибы и ловить зимой рыбу. Собственно, этим он и жил последние годы: пять дней работал, а два пропадал в лесу, а если зимой, то на озере, километрах в ста от Москвы. Особенно хорошо было осенью, в сентябре. Алину он обычно отправлял в это время к морю, а сам брал отпуск и ехал в леса, за Кострому. Получилось так, что двое стариков, живших на краю заброшенной, опустевшей деревни — болтливый полупьяный дед и его угрюмая, богомольная старуха, — каким-то образом теперь, под конец жизни, стали для него самыми родными на земле людьми.

Почему люди так боятся одиночества? Трудно понять... И в лесу лучше всего быть одному. Не то, чтобы в лесу мысли были какие-то особенные, нет. В общем, то же самое: птаха вон защebetала, роса с куста посыпалась, заблестела на солнце, гриб вон прячется, сейчас я его возьму... А только в лесу и мыслей не надо. Удобно человеку в лесу: и он сам, и дерево, и птаха ведь одно и то же, и совсем не больно чувствовать себя не врозь, а в одно с ними, не унижает это, не требует никаких поисков своего особого места в мире. Да и вся эта загадка жизни, которая так неотступно мучает человека в городском чаду, в лесу вдруг делается неинтересной, выдуманной: нет этой загадки, есть ты, а откуда ты пришел и куда уйдешь — не все ли равно? Погоди, узнаешь. Не может же быть, чтобы в таком согласии, в таком стройном, как все вокруг, целом не было что-то предусмотрено на веки веков и для тебя, что-то милосердное, что пока только лишь слышится, чувствуется в уползающем тумане, в этом белом предрассветном дыму...

Брал он только благородный гриб, не жадничал и больше одного лукошка никогда не набирал. Потом потихоньку возвращался перелеска-

ми, опушками домой, иногда приваливался в стожок по дороге, лежал, жевал соломинку, смотрел на черных грачей в поле, жмурился на небесную синь, на осеннее солнце, бывало, даже и засыпал... Дома он вываливал лукошко на покрытый клеенкой стол, и под бессвязную болтовню деда, к полудню обычно уже где-то взявшего свое, они вдвоем со старухой медленно, не спеша перебирали принесенные грибы: что в сушку, что в солку, что на сковороду...

Однажды бабка своими черными пальцами вынула из кучи крепкий гриб, по виду совершенный белый, и показала ему:

— Такие больше не бери, милоч. Они ядовитые. Вишь, дно у него будто розовое...

«Глазастая бабка, сразу углядела, даром что старая. А я-то, лопух... Так ведь и помереть недолго,— подумалось тогда ему.— И такой безобидный с виду... Сколько же народу отправил на тот свет этот гриб?.. Но кто же сейчас думает о них и о том, сколько их было? Ушли и ушли, и царство им небесное, гриб этот больше рвать не будем — только и всего. А есть ведь еще и другие задачи, и многие из них несравненно даже мельче, чем этот гриб, но и на них нужна чья-то смерть, а может быть, и многие смерти, чтобы оставшимся потом было удобнее жить... Интересно, а на что пошла моя жизнь? Что нужного я-то доказал ею?»

Как-никак, отвоевался он тридцать лет назад, и все эти годы были чем-то заполнены, что-то он делал, зачем-то жил...

На войне он привык к смертям, привык к тому, что счет шел не на людей, а на величины. Да и счета, по существу, не было: чтобы считать, нужно было знать каждого, а кто же их тогда знал? Так, прикидывали: уничтожен батальон противника или, наоборот, наши войска понесли существенные потери, а сколько их там, в потерях, кто он такой — потеря — пойди, разберись, не до того всем было. Иначе невозможно, война есть война... Бывало, тянет тягач орудие по раскисшей дороге, смотришь из кабины: труп вон валяется в кювете, рядом еще один, и в поле тоже трупы — где свои, где чужие, — хорошо, если подберут потом, а то и сгниют, там, под дождями, не всегда же руки доходили... Вот если из своих, из дивизиона, кого достанет — вот тогда, действительно, тоска накрывала: как же так? Был человек — и нет его, а, кажется, только что вместе сидели, вместе были. Но ведь забывалось назавтра: одни уходили, другие приходили...

Странно, как все же меняется с годами человек: а ведь отвык он за эти годы от счета на величины, не получалось теперь так считать, все вместо величины какой-нибудь Иван Иванович всплывал перед глазами, которого вчера похоронили... Вчера, что ли, это было? Да, вчера. Лежал в гробу смиренный такой, успокоенный, а был когда-то боевой, шумел, все чего-то добивался, планы разные строил...

«Ладно, что толку мудрствовать, жизнь прошла, прошла так, а не иначе, и задним числом ничего в ней не изменить», — думал он. — Скажи спасибо, что хоть жив остался: сколько народу переколотили и сколько

из них зазря — кто и когда их считал и теперь кто их пересчитает? Все равно до последнего не сочтешь, а раз так, то и считать нечего: какая разница, одним меньше, одним больше? Похоронили и забыли. Тебе еще повезло: хорошо тебя тогда доктора зашили, тридцать лет вон протянул и, даст бог, еще протянешь... Так-то оно так... А только жаль все-таки. Ведь не все же у меня война отняла, кое-какие силы еще были... Э, да что теперь говорить! Сам виноват, другие ли — теперь не установишь, а если и установишь, что это даст в конце концов? Может быть, Алина и права: надо было стучаться головой об стенку, может, и продолбил бы ее когда-нибудь. Но ведь не стучался!.. Не стучался же! И стучаться не буду. Пусть: считайте, что еще один в мусор ушел... Только кому или чему от этого лучше стало? Вот вопрос...»

Ночь кончалась, часы в большой комнате пробили шесть. Перед ним на столе стояла полная пепельница окурков, голова побаливала, во рту ощущался кислый, противный вкус... Где-то наверху загудела вода, под окном заскребли скребком: дворничиха уже поднялась и соскребала в темноте наледь, небось чертыхаясь на погоду и на жизнь. В коридоре послышались шаркающие шаги — Алина прошла в ванну.

«Так сказать ей, нет? — думал он. — Нет, не скажу. Зачем? Ну, добавлю лишней горечи бабе. Ни к чему это ей. Да и мне тоже... Тоже ни к чему...»

Щелкнул выключатель: резкий, бесцеремонный свет на секунду ослепил его. Алина вошла в кухню.

— Ты чего это ни свет, ни заря? Господи, уже успел надымить — не продыхнешь... Чайник поставить? — запахивая халат, спросила она и зевнула, прислонившись к двери.

## НОЧНЫЕ ГОЛОСА

...Алло! Ты?.. Прости. В самом деле, глупость сказала. Кто же еще может подойти, кроме тебя... Я тебя разбудила? Сколько сейчас? Три? Боже мой — три. Ну, не сердись. Не сердись, да? Поговори со мной... О чем? Ни о чем. О чем получится... Да, вот что я хотела спросить: почему ты ушел так рано? Не сказал ничего, не попрощался... Заснула? Ну, и что? Разбудил бы... У тебя утром лекция? Да, ты говорил. Прости, забыла... Пьяна? Нет, что ты, я не пьяна. Твой коньяк как стоял на столе, так и стоит, я его не трогала. Глоток только глотнула, во рту было нехорошо, а больше не пила... Проснулась — тебя нет. Я сначала даже испугалась: подумала, ты обиделся на что-нибудь, а я не помню, на что. Я вчера плохо вела себя? Шумела? С другими танцевала? Да? Но ты же не ревнивый. Ты у меня совсем не ревнивый. Даже обидно иногда... Сережа, я ведь не дрянь, правда? Я только тебя люблю. А больше никого не люблю... Прости, я знаю, ты этих слов не любишь. Я тебя, наверное, за

то и люблю, что ты не любишь слов. Слова-то все затерты, это правда... Но ты их все равно говори мне иногда, женщина совсем без слов не может... Любишь? Правда? Ну, вот, мне опять хорошо. А то... Проснулась, думаю: все не то, не то! Господи, как же все не то! Один ты — то. А тебя нет... Да ладно, не обращай на меня внимания! Баба я — баба и есть. Я же понимаю: лекция, студенты, ассистенты... Во сколько ты ушел? В двенадцать? Это значит, я спала всего три часа? Надо же... Сережа, прости, можно я еще один глоток сделаю? Меня колотит, сама не знаю почему. Можно? Сейчас. Я только до стола дотянусь... Слушай, а знаешь, под конец я вчера все-таки не удержалась — врезала этому типу. От души врезала, все ему высказала, у него даже челюсть отвисла... Кому? Как — кому? Ты что, не помнишь? Ну, за соседним столом сидел, он все меня танцевать приглашал — Виталька Тепляков, фельетонист, с ним еще этот реставратор был, известный, говорят, богатый человек, на иконах большие деньги зарабатывает. И еще третий с ними был — не то лошадник, не то фарцовщик, ну, не важно кто, мошенник, одним словом. Виталька мне говорит: поедем, брось ты его, чего ты с ним связалась? Боже мой, Сереженька, ну зачем я это тебе говорю? Я же знаю, с тобой нельзя так. Ты не думай, это я не для того, чтобы тебя поддразнить. Я дура: несу черт знает что, а потом сама же жалею, плачу... Хочешь, я у тебя раз навсегда за все прощения попрошу? На коленях попрошу?.. За что? Ни за что. За то, что я и тебя, и себя мучаю... Сережа, ты мне веришь? Веришь? Честное слово, я тебе ни разу не изменила. И не измению. Только ты не бросай меня. Я без тебя пропаду... Сколько мы с тобой уже прожили? Полгода? Господи, а кажется — полжизни... Знаешь, девчонки наши в доме моделей мне в открытую завидуют: ишь, профессора себе нашла. А я тебя не нашла. Ты сам нашелся. Помнишь, ведь и ты про меня сначала ничего не знал, не знал, что я манекенщица. Помнишь, тогда в театре, в антракте, я еще была с Милкой Разумовской... У, шкура продажная! Ненавижу... Ты у автомата стоял, а я у тебя двушку попросила. Ты покраснел, растерялся, и лицо у тебя стало такое, я думала — сейчас убежишь. А потом ты стал ходить на все наши сеансы. Я помню, ты всегда во втором ряду садился, я иду по «языку» и всегда первым делом тебя глазами отыскиваю: здесь ты? Здесь? Ну, значит, все будет хорошо... Сережа, меня теперь целиком на вечерние платья переводят, открытые... Правда ведь, у меня красивые плечи, да? И грудь?.. Не споришь? Ну, хорошо, что хоть с этим не споришь... А с чем еще? Не знаю. Мне все время кажется, что ты со мной все о чем-то споришь, споришь. Только вот о чем — и сама не знаю... Начальница велит теперь гладкую прическу носить: говорят, так я совсем дама. Ну, леди, понимаю? Я как-то Милкины колые и серьги надела, бриллианты, ей любовник подарил, какой-то директор из кожгалантереи. А здорово мне шло, если бы ты только видел! Сразу и спина прямее стала, и пошла я как-то по-другому, уверенно пошла, будто кто передо мной ковровую дорожку катил, а я шла... Это ничего, что я такие высокие каблукки ношу? Девять

сантиметров? Когда я на них, мы с тобой вровень ростом. Ничего? А то я иногда думала, может, тебе неприятно... Сережа, милый, может, приедешь, а?.. Когда? Сейчас. Я ужасно хочу тебя видеть. Сейчас хочу. Ну, приезжай, что тебе стоит? Возьми такси и приезжай. Я кофе сварю, коньяк есть... Лекция? Ох, как я иногда ненавижу все эти твои лекции. Студенты, ассистенты, какие-то книжки, черт бы их побрал! Ну, при чем тут они, скажи мне, при чем? Разве в них дело? Ведь ты же мой. Мой! Что они все хотят от тебя? Что им нужно?.. Уехать бы нам с тобой куда-нибудь к черту на рога, и чтобы никого вокруг не было, ни души, только ты и я, я бы целовала тебя, гладила. Поедем, а, Сережа?.. Куда? Да куда хочешь. Поедем к морю? Комнату снимем, прямо на берегу, чтобы и не одеваться, а так в купальниках и ходить. Представляешь? Целый день в купальниках, солнце, песок, и никого знакомых вокруг, лежали бы целый день. Хочешь читать свои книжки? Читай, ради бога, я бы не мешала тебе, голову только положила бы тебе на живот и глаза закрыла. Поедем?.. Ты мне обещаешь? В каникулы? А это сколько ждать?.. Два месяца? Господи — два месяца, это сколько же еще ждать... Сережа, женись на мне, а? Чем мы с тобой не пара? Я красивая, ты умный. Представляешь, как бы на нас вместе смотрели? Познакомьтесь: мой муж, университетский профессор, тридцать три года. А я? Я его жена. И еще его личный секретарь. Правда, Сережа, возьми меня личным секретарем, а? Я на машинке печатать умею, и я не бестолковая, ты же знаешь. Я бы все твои дела в порядок привела, а то ты задыхаешься... из-под бумаг выбраться не можешь, я же вижу... Ты мне как-то сказал, что я слишком красива. Но красивая — это ж не обязательно дура? А, профессор? В каких таких книжках ты это вычитал?.. Ты так не считаешь? Правда, нет? Господи, спасибо тебе, хороший мой. А то я иногда совсем крылышки вниз... Сережа, а я знаю, почему ты на мне не женишься. Я напиваюсь иногда, могу до утра прогулять, со мной трудно, да? Но я изменюсь, честное слово, изменюсь. Мне ведь это все не нужно, это все просто так, от скуки, ты же знаешь... Сережа, я тебя люблю, я буду такой, какой ты скажешь, ты даже не знаешь, какой я могу быть. Все эти студентки твои — что они знают? Что они видели, вертихвостки? Для них ты видный мужик с положением — и больше ничего. Перед девками похвастаться, в люди куда-нибудь с тобой выйти. Я знаю, сама такая была. А для меня ты — все... Да нет, я знаю, что ты не бабник. Но у вас там столько этих красоток — того и гляди, вцепится какая-нибудь... Сережа, меня тоска замучила. Иногда прямо вить хочется: лезет всякая сволочь, пристают, за руки хватают. Ну и что, что у меня любовники были? А у кого их не было? Мне ведь двадцать шесть, я не ребенок. Ты-то умный, ты меня знаешь, и тебе на все это наплевать, а другие не знают, думают: манекенщица?! Значит, общая. А я не общая! Я твоя и ничья больше не буду... Ненавижу! Ух, как я их всех ненавижу... Сережа, приезжай. Приезжай, хороший мой — ну, хоть на час, а?.. Нет. Не надо. Не приезжай — не слушай меня, дуру. Я сама, если приедешь, проклинать

себя буду завтра... Сережа, меня все время колотит, прямо зуб на зуб не попадает. И плед не спасает. Что со мной, не знаешь? Можно, я еще глоток выпью? Последний, честное слово, последний. Ты не думай, потом накапаю себе валерьянки и лягу спать... Подожди. Поговори со мной еще немного... Сережа, хочешь я тебе признаюсь? Только ты пойми меня, не подумай чего плохого... Мне иногда до слез жалко этого аборта. Прямо до слез. И как я тогда влипла? Дура пьяная... Сережа, не спи со мной больше никогда, когда я пьяна, обещаешь? Привезешь меня домой и уходи, даже если я цепляться буду, просить тебя. Ну, дай мне в крайнем случае подзатыльник, я когда просплюсь — пойму... А представляешь? Была бы я сейчас с пузом, ты бы мне цветы дарил, ходил бы со мной везде — я же тебя знаю, ты ведь только вид делаешь, что ты такой серьезный, а на самом-то деле ты весь в соплях, еще хуже меня... Нет, ты не прав, я, наверное, была бы неплохая мать, я знаю... Сережа, я никогда тебе не рассказывала? Ведь когда мы с тобой встретились, за мной один драматург ухаживал, замуж звал, богатый. Как бульдог: важный такой, весь в медалях, ступает тяжело, медленно. Он известный драматург, только я тебе его фамилии не скажу, не сердись... А, сам знаешь? Откуда? Впрочем, какая разница откуда. Все мы в Москве, как черти хвостами, переплелись... Старый? Ну, не такой уж старый... Сережа, ну что я несу?! Какой драматург? При чем тут этот старый козел? Я тебя люблю! Тебя! Милый мой, ну, хочешь, я к тебе приеду? Вот накину сейчас пальто — и приеду... Ну, пожалуйста, разреши. Я только посмотрю на тебя — и назад... Прости меня, я больше не буду, совсем голову потеряла. Мне нельзя с тобой по ночам разговаривать, ночью все так страшно... Хочешь, я тебе новый анекдот расскажу? Забавный! Слушай. Качается на рейде большой белый пароход. Вдруг, откуда ни возьмись, крохотный буксирчик — черенький, грязненький, дым из трубы: чух-чух-чух...

— Эй, на судне! Хлебушка нет?

— Д-да па-шел ты...

— По-ол-лный вперед!

Не смешно? А мне почему-то смешно... Представляешь? Белый, пузатый, важный, а этот черенький, махонький: хлебушка нет? Нет? Ну, и пес с вами! Полный вперед, шуруй машина!.. Мне иногда тоже хочется так: вперед — и прямо! По лужам, на шпильках, чтоб брызги в разные стороны!.. А, так и хожу? Ну вот, видишь... Сережа, во сколько у тебя завтра лекция? В девять? К одиннадцати кончится? Вот хорошо! Слушай, а давай в одиннадцать встретимся у «Националя» и позавтракаем вдвоем? Тебе же от МГУ два шага. Только пойдем на второй этаж, там в это время еще пусто. Сядем у большого стекла и будем смотреть вниз, на Манеж. Люди внизу куда-то спешат, суетятся. А мы с тобой за белой скатертью, и в зале пусто... И шампанское возьмем. И долго будем сидеть, долго, только чтоб никто не подсаживался. Хорошо, а? Достанешь денег? Если нет, не беспокойся, я достану. Бедный мой, я, наверное,

уже все спустила с тебя, ведь это ужас просто, сколько мы с тобой тратим! Когда я выйду за тебя замуж, я ни за что не позволю тебе столько тратить на женщин. Мы не будем никуда ходить, будем сидеть дома и копить деньги. Впрочем, нет. Не будем копить. Ты на это не годишься. Ну, а про меня и говорить нечего. И в кого я такая шальная? Мама была тихая, отец тихий... Сережа, а может, я все-таки приеду?.. Не надо? Ну, не надо. Правда, так будет лучше... Спи. До завтра. Я тебя люблю...

\*   \*  
\*

Алло! Сергей? Здравствуй... Узнал? А я, признаться, боялась, не узнаешь... Тебе можно со мной разговаривать? Ворчать не будут?.. А ты скажи, что я безобидная, уж меня-то ей бояться нечего... Она все воюет со мной? Зря. Я теперь так — дым, воспоминание. Меня не было-то никогда на самом деле... Я разбудила тебя?.. Ну, конечно, как всегда. Три часа ночи, профессор спит, завтра лекция. Нужна свежая голова, иначе аплодисментов не будет, а мы привыкли к ним, нам без них нельзя... Прости, не хотела тебя обидеть. Просто я, наверное, злая стала. Старею, замуж никто не берет. Иногда сама себя ловлю: ну чего я злобствую? Чего?.. Пьяна? Конечно, пьяна. Разве трезвая я решилась бы тебе позвонить?.. Где гуляли? А черт его знает, где. Не помню. Люстра была какая-то огромная, и все рыла кругом, рыла... Как твоя дочка? Мне кто-то говорил, у тебя чудесная дочь. Сколько ей?.. Пять? А тебе, наверное, уже сорок?.. Господи, как время летит! Ты тоже постарел, профессор. Я тебя с месяц назад в театре видела, ты-то меня не видел, а я тебя видела. Ты был с женой? Она хорошо одевается, это я профессионально говорю, можешь ей передать. Небось фыркнет. Но в душе-то будет рада, я знаю, все они такие... Сережа, милый, прости. Можешь секундочку подождать? Фары по стеклу полохнули. Это Виталька Тепляков, больше некому, его манера. Он всегда так — как напется, так ко мне. Говорят, его жена бьет... Подожди секундочку, я и бра погашу, чтоб совсем темно было... Так и есть, его машина. Сейчас в окно стучать начнет. Я же на первом этаже живу. У меня теперь кооперативная квартира, в киношном доме. В подъезде одни звезды живут. Такое количество звезд — прямо вить хочется! Ненавижу! Все, как одна, шлюхи, а туда же... Версаль, Трианон... Ну чего стучишь, болван? Чего? Ведь ясно же, не открою. То же мне — разлетелся! Тут, можно сказать, единственная любовь, в первый раз за семь лет, а ты... Смотри-ка: уехал! Или вправду поверил, что меня нет, или не очень пьян был. Ох, какой он тут однажды скандал устроил! Весь дом поднял: «Выходи! С кем заперлась, так твою разэтак?! Открывай! Убью!» А я ни с кем и не была... У, как я его иногда ненавижу, если бы ты только знал... Сережа, ну какая я дура! Ну, зачем я тебе



это, зачем? Какое тебе до всего этого дело? Ты всегда такой чистенький, такой ученый. Прости... Ты по-прежнему в университете? Доволен? Впрочем, чего я спрашиваю, конечно же, доволен, тебя всегда студенты любили. Твоя жена — тоже, кажется, твоя студентка?.. Аспирантка? Какая разница... И как я все-таки, дура, тогда тебя прохлопала? Ума не приложу. В дыму все было, слишком, наверное, любила тебя. Э, да что теперь вспоминать... Ты-то как? Счастлив?.. Не знаешь? Как же так — не знаешь? А я думала, что ты единственный счастливый, кого я знаю... Милку Разумовскую помнишь? В сумасшедшем доме, третий год пошел. Вот уж, казалось, кремь баба, удавится — своего не упустит. А на поверку видишь, как вышло... Что я делаю? Да все то же. По «языку» больше не хожу, стара стала, в бедрах раздалась. Откуда-то чудовищная грудь выросла, сама не знаю, что с ней делать. Нет, ты не думай, пока еще не висит, до этого еще не дошло... Да нет, дойдет когда-нибудь, куда ж от этого денешься? Я теперь в конструкторском бюро, на мне новые тряпки примеряют. Модельеры что-нибудь придумают, ну, а потом: «Мая, повернись, Мая, вы неловко встали, Майечка, пожалуйста, шевельните задом, кажется, не очень удачно получилось»... Пробовала кино, ничего, конечно, из этого не вышло — так, ерунда, и говорить не о чем. Светских дам, сам знаешь, теперь не очень-то снимают, ну а на горничных я не тяну, для этого высшее образование нужно, у меня его нет... Замуж? А как ты думаешь, профессор, после тебя легко выйти замуж? Ты об этом никогда не думал?.. Нет? Да после тебя ни лечь ни с кем, ни говорить ни с кем не хочется — все убожество, все дерьмо! Останови меня, а то я сейчас материться начну... Был один мозгляк, год целый промучилась с ним, все меня жить учил. Не представляешь, какая сволочь! Он, видите ли, ошастливил меня, он, видите ли, знает, как надо, он, видите ли, руку помощи мне подал! А сам меня на трамвае из загса домой привез: дело, говорит, не в деньгах, дело — в принципе, новую жизнь начинать надо! Радовался, крыса несчастная, когда его начальником сделали, целых двух баб в подчинение дали... Сережа, прости. Все равно уж я тебе ночь испортила. Подожди секундочку. Я налью себе немного. Меня колотит, сама не знаю, почему. Где-то тут портвейн был, Виталька, подонок, в прошлый раз оставил... Ну, твое здоровье, милый. Ты-то хоть вспоминаешь меня иногда? Вспоминаешь?.. Ты что, с ума сошел? Да разве можно пьяной бабе такие слова говорить? Я и так на ниточке вишу, сейчас разрыдаюсь, а ты мне... Не надо, милый, не надо. Замолчи. Сейчас же замолчи!.. Приедешь? Куда приедешь? Ко мне? Сейчас? И думать не смей! Никуда ты не приедешь... Почему? Непонятно, почему? Что с тобой, профессор? Ты ведь когда-то умный был?.. Приедешь? Значит, приедешь? А потом уедешь? А я потом веяшай, да? Нет, Сережа, было, и это уже было. Вены-то я уже себе вскрывала, хватит, знаю, что это такое. Да сама же, дура, и испугалась тогда, сама и «скорую» вызвала... Из-за чего? Думаешь, из-за тебя? Нет, Сережа, не из-за тебя. Во всяком случае, не только из-за тебя. Не знаю, в общем,

из-за чего. Из-за всего... Пить перестать? А зачем? Можешь ты мне объяснить — зачем?.. Ах, здоровье? А кому оно нужно — мое здоровье?.. Тебе? Тебе нужно? Да ладно, Сережа, брось ты ерунду молоть. Уж кем-кем, а пошляком ты не был никогда... Делом заняться? Каким делом? Моим, что ли? Было, Сережа, было. И это было. Я когда квартиру себе строила, по двенадцать часов вкалывала, с утра до вечера, с сеанса на сеанс, из ателье в ателье, с ног валилась, высохла вся, как щепка. Ну, набила себе квартиру всем, чем хотела: мебель с выставки, ковер, ванну разноцветной плиткой обложила. А потом как-то проснулась ночью, думаю: зачем? Ради чего? Да пропади ты все пропадом! Ради чего надрываться-то? Чтобы этот подонки, Виталька, пришел и здесь разлегался? Не все ли равно ему, куда блевать — в голубой унитаз или в помойное ведро?.. Выгнать? Его выгнать? А зачем? Ну, выгоню его — другой будет, еще хуже. С этим-то мы хоть как-то притерлись друг к другу, сколько лет уже. Он хоть не злой, не жадный. Иногда мне его, обормота, даже больше, чем себя, жалко... Эх, Сережа, дело, дело... Какое дело?! Да разве это мне нужно?! Я баба, понимаешь? Баба! Мне бы ноги раскорячить и рожать одного за одним... На мужика орать, кастрюлками греметь, по очередям мыкаться — это бабье счастье! И другого никто не выдумал. Куда меня, Сережа, занесло, куда? И как все так получилось? Можешь ты мне сказать? Да нет, ничего и ты не можешь. И никто не может... Прости... Вот не знала, что такая мука будет с тобой разговаривать. Думала, помурлычу, порадоюсь за тебя, старое чуть-чуть вспомним... Погоди-ка... Бутылка-то, оказывается, только начатая. А я в темноте и не поняла. Ну, живем! Теперь мне до утра хватит... Да перестань ты! Чего ты вмешиваешься не в свое дело? Я, может, в последний раз тебе звоню, может, я этот разговор потом годы буду помнить, вертеть его туда-сюда, голос твой вспоминать... Не надо? Лучше не надо? А о чем еще мне с тобой разговаривать? Хочешь, анекдот расскажу?.. Нет? Тогда о чем же? О том, как я тебя люблю? Так ты этих слов не любишь, я помню... А, теперь не так? Теперь по-другому? Теперь, оказывается, и слова стали нужны? Долго же тебе понадобилось, профессор... Дурак ты, Сережка, дурак. Женился бы тогда на мне, знаешь, как бы мы с тобой жили!.. Телефон? Какой? Мой телефон? Не надо, хороший мой. Я баба слабая, увижу тебя — ножки подкосятся. Лучше я сама тебе как-нибудь позвоню... Скоро позвоню, скоро... Спи, у тебя завтра лекция. Я тебя люблю...

\* \*  
\*

Простите, я могу попросить Сергея Александровича? Извините, что так поздно. То есть рано... Конечно, я все понимаю. Но это нужно... Хорошо, я подожду... Сергей? Здравствуй... Ну, конечно, я. Сережа,правляю тебя с сорокапятилетием, желаю тебе всего, что ты хочешь, все-

го самого лучшего, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы ты не болел... чтобы дочка у тебя выросла счастливая, умная... Помню? Я многое, Сережа, помню. Я все помню. Помню, например, что ты родился на рассвете, ты мне когда-то говорил... Хочешь, я тебе признаюсь? У меня план был: думаю, позвоню ночью, ведь не обматерят же меня в профессорской семье в конце-то концов, зато я первая тебя поздравлю. Еще с вечера вышла в магазин, потом уселась в кресло, сидела вот, ждала, пока светать начнет. В общем, праздную твой день рождения... Одна? Конечно, одна... К телефону подходила жена? Тебе можно со мной разговаривать?.. А ты унеси телефон в большую комнату... Унес? Вот и хорошо. Я ненадолго, поговорю с тобой чуть-чуть, и хватит. У тебя завтра лекция?.. Нет? Странно — как это нет?.. Просто реже стал читать?.. Кафедрa?.. Слушай, слушай: я тут как-то книжку твою купила, толстую... Какую? Ну, эту, про восстание камизаров, во Франции, XVIII век. Надо же, сколько написал! И хорошо написал, Сережа, даже я почти все поняла. Только одного не поняла, за что ты жалеешь эту сволочь? Сначала они резали, потом их вешали — чего уж тут теорию разводить? Сами напроносились... Да ты что, Сережа? Ты в самом деле серьезно? Не надо, милый, не трать силы. Нашел с кем про великие дела говорить. С годами все-таки поглупел немножко, профессор, да?.. Не без этого? Ну, вот как хорошо, — ты опять смеешься. А то я ляпнула и сама испугалась — вдруг ты трубку повесишь... Со мной что? Да ничего. И рассказывать-то нечего. Работая теперь машинисткой в одной конторе, в основном беру работу на дом, так лучше, так хоть рожи эти поменьше видишь. Я стала совсем домоседкой, Сережа, не поверишь... Кха-кха-кха-кха!.. Прости, закашлялась. Паршивые сигареты. «Дымок», черт бы их побрал. И кто мне их вчера в карман сунул?! Не помню. Наверное, этот дурак усатый, больше некому. Еще домой ко мне просился. Как же! Так я и пустила, держи карман. Господи, какие же все-таки мужики дураки... Наврала? Я тебе наврала?! Да я, Сережа, в жизни тебе ни одного лживого слова не сказала! С чего ты взял?.. Так это ж днем было, днем! А вечером я, знаешь, какой тут Версаль развела? Цветы на столе стоят, шампанское, платье на мне — ты бы поглядел! Только оно тесное стало, растолстела я, как корова, самой противно. И чего меня разносит? Не могу понять. Вроде и не ем почти что ничего... Виталька Тепляков? А ты что, не знаешь? Ты, правда, ничего не знаешь?.. Умер. От водки сгорел. Два инфаркта подряд — много ли ему, бедняге, надо было? Он ведь еще и вкалывал дай бог, все надеялся, что его заметят. Не дождался. В сорок два года откинулся: двое мальчишек, жена — дура... Жалко? А как ты думаешь? Конечно, жалко. Он хоть и подонок был, но никому зла не сделал... Кто сейчас со мной? А тебе это очень нужно знать?.. Знаю? Зачем?.. Понишь, ты еще когда-то меня стращал: дескать, кончу тем, что с водопроводчиком буду спать? Одно могу сказать, что пока это еще не водопроводчик. Но уже близко... Не ты? Разве не ты? Ну, значит, я все перепутала. Туман все время какой-то в голове. Да, правда, наверное,

это был не ты. Ты не мог мне так сказать, ты же деликатный, ты меня любил... Сережа, а ты меня любил? Ты меня правда любил? Или я все сама выдумала?.. Ну, вот, это опять ты. Прежний ты. Значит, не выдумала... Не надо, Сережа, хватит. Ты все же выбирай слова, а то я разревусь. Какой же тогда это будет праздник? Наревешься всласть я и без тебя могу... Сережка, какой все-таки у тебя голос! Сколько лет прошло, а голос не изменился. Я теперь понимаю, за что я тебя любила: за голос... Да нет, чепуху, конечно, говорю. Если бы только за голос... Больно ты не похож был на всю эту шушеру, что тогда вокруг нас колготилась. Милку Разумовскую помнишь?.. Помнишь? И ее уже нет. Так в сумасшедшем доме и умерла. Я ее хоронила. Одна. Представляешь? Надрывалась девка, надрывалась — а похоронить, оказалось, некому. Постояла над могилой, вспомнила, какая она была когда-то. «Я жду тебя, Робеспьер!» — помнишь, ты мне рассказывал? Не помнишь, конечно. Да неважно... Ну? Ну, говори, что ты мнешься? Кому-кому, а нам-то с тобой вроде бы не пристало церемонии разводить... Спиваюсь? Страшно?.. Нет, Сережа, не страшно... Да ладно, перестань ты... Майя, Майя... Что, Майя? Была Майя! Что ты мне лекции читаешь, профессор? А где ты был двенадцать лет назад?.. Прости, Сереженька, не хотела тебя обидеть, не за этим позвонила. Думаешь, я сама не знаю, во что я превратилась? Да я теперь к зеркалу боюсь подходить — неужели это я? Эта толстая старая баба с оплывшими глазами — я, Майя? Ну, а что делать? Прикажешь удавиться?.. А помнишь, какая я была? Не было мужика, чтобы на меня не обернулся. А как мы с тобой дымили? И откуда только силы брались? Театр, ресторан, ночь до утра, наша ночь, а утром опять все по новой, опять дым, колесо, и так не день, не два — жизнь, вечность! Ты, профессор, был великолепный любовник, должна тебе признаться. Ни у кого из наших девок такого не было. Умный, щедрый, как принц, ласковый. Красивый даже, если хочешь знать. Я очень твои очки любила, ты это знал?.. Нет? Стеснялся их? Дурак... Брось, Сережа, все, что ты мне скажешь, я сама себе уже говорила тыщу раз... Слушай, что я за гадость пью? Кислятина какая-то, одно название, что шампанское. Где-то тут у меня была еще емкость. Подожди секундочку, я поднимусь, достану... Ну, вот, все в порядке... Ну что, друг ты мой единственный? Твое здоровье? Я тебя люблю, Сережа, до сих пор люблю. Да только теперь это уж не имеет никакого значения... Имеет? Ты думаешь, имеет? Может быть, и имеет, не знаю. Ничего я, Сережа, не знаю. Так ничего я в жизни и не поняла. Хоть бы ты мне, профессор, объяснил, как все так получилось... А, ладно. Все это ерунда, наплевать... Хочешь я тебе новый анекдот расскажу? Слушай. Качается на рейде большой белый пароход. Вдруг, откуда ни возьмись, буксирчик, череный, грязный, ободранный весь, краска облупилась, дым из трубы: чух-чух-чух...

— Эй, на судне! Хлебушка нет?

— Д-да пошел ты...

— По-ол-л-лный вперед!

Не смешно?.. Другие смеются. А мне почему-то тоже не смешно. Хлебушка, видите ли, ему надо! Тоже мне, разлетелся. Да па-шел ты!.. И зачем я тебе это рассказала? Сама не знаю... Сережа, а ты был ли на самом-то деле? Был? Или это все во сне было? Вдруг я проснусь, а тебя на самом-то деле и не было никогда?.. Приедешь? Ко мне приедешь? Когда?.. Завтра? А ты не боишься? Ты хоть представляешь себе, что ты увидишь?.. Без разницы? Ну, приезжай, раз без разницы. Пиши адрес... Правда, чего это я, на самом-то деле? Ну, приедешь. Приедешь и уедешь. Что от этого изменится?.. Мне, Сережа, теперь все равно. Если бы ты только знал, как мне теперь все равно. Иногда одно только желание — сдохнуть бы поскорее, чтобы и следа от меня не осталось. Эх, не так все вышло, хороший мой, не так! Все не так... Спи. Утро уже. Воровбы вон, слышишь, как расчирикались. Спи...

## ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

Один мой относительно юный друг — ему сорок, мне семьдесят три — утверждает, что в истории человечества только трое решились публично вывернуть себя наизнанку до конца: блаженный Августин, Руссо и Толстой. Трое или не трое — не знаю, в этом я не специалист, спорить, во всяком случае, не берусь. Следует, однако, сказать, что друг мой — профессиональный философ, человек очень думающий, и, как я уже имел возможность неоднократно убедиться, обычно он знает, о чем говорит.

Года два назад с его легкой руки я прочел все эти три знаменитые исповеди. Признаюсь, тягостное было чтение: ничего или почти ничего, кроме разочарования и раздражения, мне оно не принесло. Времени мне осталось немного, если оно вообще осталось, и теперь, на пороге перехода, так сказать, в иную систему координат, мне думается, я могу, не поддаваясь гипнозу столь громких имен и не опасаясь вместе с тем обвинений в какой-то скрытой личной предвзятости, позволить себе высказать некоторые вещи, которые в устах более молодого человека, чем я, могли бы, допуская, показаться по меньшей мере экстравагантностью, а то и того хуже — прямым святотатством.

Во-первых, никогда еще в своей жизни мне не приходилось сталкиваться с такой несокрушимой уверенностью, с таким непомерным, я бы даже сказал — неумным вниманием человека к самому себе и ко всякой ерунде, которая когда-то, где-то и, бог его знает, по какому стечению обстоятельств могла приключиться с ним. Как будто каждый их вздох, каждая завитушка мысли или ничтожное житейское происшествие есть действительно достояние истории и должно войти в общий багаж, мало того — в золотой фонд всего человечества. Если бы еще это было написано для себя и только для себя — я бы понял, наверное. Но нет же! Все,

каждое слово с самого начала предназначалось на всеобщий суд... Далее: не верю, не могу я поверить в это якобы смирение, именно якобы, потому что под ним — это видно, что называется, невооруженным глазом — гордыня, гордыня тотальная и по сути своей, и по замаху, упорное стремление заставить всех, обязательно всех, не меньше, жить по своей методе, выдуманной в кабинетной тиши, свирепая нетерпимость к живому, спотыкающемуся, страдающему человеку, которого бог в своем милосердии бросил, как щенка, на произвол судьбы: мол, барахтайся там, как знаешь, может, выплывешь, а может, нет... Взять бы этого Августина за бороденку: а грудные-то младенцы в чем у тебя виноваты, отче? Их-то ты за что проклял? Или так, для стройности концепции, чтобы уж никого не обойти?.. И, наконец — ложь, постоянная ложь самому себе, лицемерное признание своих мнимых грехов и удручающее, ничем не прошибаемое бессердечие в отношении грехов действительных, да не грехов даже — преступлений! Подумаешь, яблоко украл... И вот разводит, разводит вокруг этого сопли... А что двух женщин сгубил, любовницу и невесту, жизнь им искалечил — ну, что ж, жалко, конечно, очень даже жалко, виноват, каюсь, но прошу, однако, учесть: ради господина моего и спасения в вечной жизни, ради души моей нетленной — ни за чем другим... Эх, святой отец, святой отец... Ничего, господь милостив, не ты первый — не ты последний: надо думать, из уважения к твоей искренности заодно вместе с яблоком он и их тебе когда-нибудь простит... Особенно возмутила меня в этом смысле исповедь Руссо: загнал пятерых своих детей в воспитательный дом, так что ни имени, ни следа от них не осталось, а туда же — высокий строй души, благородство мыслей, любовь к добродетели, кротость, чувствительность, никому от него никаких обид. И ведь действительно уверен, сукин сын, что он «лучший из людей» и имеет право учить других!.. Да и Толстой тоже хорош. Воистину, как в Писании: поступайте, люди, по словам проповедника, не по делам его...

Но я отвлекся. К тому же я явно опять начинаю злиться, раздражаться, а при тех задачах, которые я здесь перед собой ставлю, мне это не нужно и, если хотите, даже не к лицу: в какой-то мере тот случай, о котором я собираюсь сейчас рассказать, для меня своеобразное подведение итогов, и мне хотелось бы до конца сохранить спокойную, уравновешенную интонацию человека, закрывающего последнюю страницу своей жизни и полностью отдающего себе отчет в том, что он делает именно это, а не ввязывается опять, пусть в иной форме и под иным предлогом, в суетную, утомительную житейскую борьбу, не ведущую, как известно — особенно людям моего возраста, — ни к чему. Перечтя, я было хотел даже зачеркнуть первые страницы, но потом решил, что, если зачеркну, — это тоже будет ложь, и прежде всего ложь самому себе, то есть то, чего я самым решительным образом хотел бы избежать именно здесь, поскольку и по замыслу своему, и по цели эта работа имеет смысл лишь в том случае, если мне удастся обойтись в ней без вранья

как себе, так и другим... Все, больше никакой полемики, я должен успокоиться... Тем более, что это не так и трудно: валидол теперь всегда у меня под рукой, лежит на письменном столе как раз в той самой пепельнице, где когда-то лежала моя любимая трубка — года три уже как пришлось упрятать ее в нижний ящик стола, подальше от соблазна... Ну вот, звон в ушах утих, сердце опять стучит ровно — теперь постараюсь по возможности без эмоций объяснить, к чему я затеял весь этот разговор.

Мне за семьдесят, и, естественно, я о многом думал, пока жил. Я почти ровесник века, ни одно из его значительных событий не миновало меня, не обошло стороной, и на что на что, но на скуку или недостаток впечатлений, начиная с первых моих сознательных лет, я пожаловаться не могу. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... Не знаю, как насчет блаженства (по-моему, в блаженном состоянии я находился всего каких-нибудь полгода или год в своей жизни, в сорок седьмом, когда, как в угаре, писал и переписывал единственную свою книгу, а потом заново переживал написанное и все никак не мог понять, как же мне, именно мне, не кому другому, это удалось), но материала для размышлений мне судьба подвалила столько, что даже и сейчас, когда никакие страсти уже не волнуют меня, и ничто не мешает думать, и склероза, слава богу, пока нет и, надеюсь, уже не будет, я не могу из этой груды впечатлений выстроить ничего прочного, не могу соорудить никакой логической конструкции, определить, хотя бы для самого себя, что было причиной, что следствием, что было во-первых, а что было во-вторых. Единственное, в чем я отдаю себе полный отчет, что я действительно знаю, — это свои симпатии и антипатии, а почему они возникли, как складывались, да и справедливы ли они в конце концов, убедить, сказать не могу.

Плохо, но я помню первую мировую войну, тоже плохо, но все-таки более отчетливо помню войну гражданскую, тиф, голод, разруху, в двадцатые годы я уже вел активную, деятельную жизнь, окончил Московский межевой институт, работал маркшейдером на шахте в Донбассе, потом каким-то боком был втянут в процесс промпартии, но отделился по молодости пустяками — хотя этих пустяков, естественно, мне хватило на всю жизнь — и вскоре вышел живым и здоровым на свободу, в тридцатые годы работал геодезистом в полевых партиях, исходил, исколесил всю Россию из конца в конец, сороковые провел на Дальнем Востоке, в военно-топографическом отряде, был даже дважды награжден, в пятидесятые перебрался в Москву, преподавал геодезию в геологоразведочном институте, потом перешел в НИИ, защитил за чем-то под старость диссертацию... Вот уже четвертый год я на пенсии, сплю, читаю, гуляю по Тверскому бульвару, беседую с такими же старичками, как и я, беседую преимущественно о былом, но иногда и о злобе дня — ей, как известно, нет конца и не предвидится, пока человек жив...

Все мило, скромно, тихо, достойно — чего ж еще и желать на старости лет?

Мне хотелось бы быть правильно понятым с самого начала: я действительно давно уже не думаю ни о боге, ни о своем, так сказать, месте во вселенной. Я глубоко убежден — даже неловко как-то об этом говорить, заранее прошу у читателя извинения за подобные банальности, — что никому еще и никогда не удавалось додуматься в этих вечных вопросах до большего, чем простая констатация унылого, согласен, неприятного и тем не менее абсолютно бесспорного факта: каждый из нас — лишь песчинка в пустыне бытия, и приходил ли ты в мир или вовсе не был в нем, не имеет ровным счетом никакого значения ни для кого, кроме разве что тебя самого, да еще немногих твоих близких, кого судьба так или иначе связала с тобой в один узел. В молодости, помню, все во мне топорщилось, протестовало против этой горькой истины, но со временем я смирился, вернее, вынужден был смириться с ней: после того, как на моих глазах десятки миллионов людей, не повинных ни в чем, кроме того, что они вообще имели несчастье появиться на свет, сгорели в огне войны или погибли в концентрационных лагерях — как мог бы я по-другому смотреть на мир, как мог я продолжать искать какие-то резоны, какие-то высшие оправдания своему собственному существованию и существованию других? Повезло, остался жив по какой-то непонятной случайности — ну, и слава тебе, господи, дыши, радуйся, пока не пришел и твой черед...

Постепенно, не сразу, уже под старость, я включил в круг этих размышлений и так называемых великих людей, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что и в этом я тоже прав. Был ли человек по имени Лютер или не было человека по имени Лютер — какая кому, в сущности, разница? Его имя — просто удобный символ для обозначения очередного всплеска безбрежной человеческой стихии, и в этом смысле оно ничем не отличается от таких обыденных и безликих понятий, как дождь, ветер, слякоть, дым. Для него самого все было так же, как и для других, «прах ты и во прах возвратишься», а для людей что ж, для людей, может, и действительно был человек по имени Лютер, а может, его и вовсе не было, черт его знает, как оно там на самом-то деле было четвереста с лишним лет назад, да и недосуг, по правде говоря, этим всем заниматься, у каждого своих забот по горло, а тут еще какой-то Лютер — да пошел он! И без него, что называется, голова кругом идет... Конечно, по-человечески я восхищаюсь величием замысла Николая Федорова — всех когда-нибудь воскресить всеобщими усилиями морали и науки — но, если вдуматься, если на минуту допустить, что это когда-нибудь будет возможно, ну и что из этого всего может получиться в конце концов? На практике, в реальной жизни? А ничего. Ничего не получится. Опять будет толпа, толпа безлика, только много бо́льшая, чем сейчас, и человек как был незаметен в этом море голов, так и останется, и никаких его проблем это тотальное воскрешение не решит... Мое глупо-



бокое, выстраданное жизнью убеждение: нет выхода из этого тупика, было так от века и так и пребудет во веки веков, только вот жаль, что чужой опыт никогда никого и ничему не учит, каждый заново сам, ощущаю, а то и обдирая в кровь бока, пробирается сквозь эти дебри, тратит лучшие свои годы на поиски ответа, которого вообще не существует, не может существовать, и в конце концов, естественно, — как это было до него и будет после него, — не находит ничего.

Равным образом мне глубоко претят всякие попытки учить людей, разрабатывать для них спасительные рецепты жизни — каждый раз заново и каждый раз обязательно в расчете на поголовный, всеобщий охват — создавать умственные конструкции, в которые реальную жизнь надо впихивать ногами, силой, потому что никак иначе ее туда не впишешь, не лезет она ни во что, ни в какие конструкции: слава богу, наш век, чуть было не захлебнувшийся в крови, кажется, уже начинает это понемногу понимать. Сколько их было, великих моралистов прошлого? И где они? И что стало с их наследием? Согласен, все это провозглашалось и делалось, как правило, с лучшими намерениями, в порыве искренней, жаркой, всепоглощающей любви к людям, но... Но за каждым святым с удручающим постоянством неизменно следовал свой Великий Инквизитор, и опять все начиналось заново, пока не появлялся очередной святой, и с ним очередная — и тоже обреченная на провал — надежда... Будда, Христос, Толстой, Ницше, Ганди — как говорится, несть им числа... Конечно, по крохам можно отыскать много полезного, доброго у каждого из них, но не дай бог вновь сложить все эти крохи в нечто целое: опять получится черт знает что, опять будет кровь, насилие, вражда, и больше ничего... Иногда я думаю: если бы люди удовлетвоались десятью заповедями, — я не в смысле их божественного происхождения, а в смысле их удобства для жизни, сам я неверующий или точнее сказать, почти неверующий, в дедушку с бородой я, естественно, верить не могу, но и отрицать всякую возможность существования каких-то высших сил тоже не решусь, нет у меня никаких доказательств ни за, ни против этой возможности, — право, этого было бы более чем достаточно для разумного устройства всех их дел на земле. Но, как известно, самое простое решение — это как раз то, которое приходит в последнюю очередь, если оно приходит вообще.

Однако один вывод, чуть-чуть все же смахивающий на рецепт, я, пожалуй, позволю себе сделать: человек — сам себе вселенная, сам себе бог, сам себе судья и палач в одно и то же время. Неоригинально? Конечно, неоригинально, я и не претендую на это, я достаточно образован, чтобы знать, что у меня были предшественники, и многие из них, создавая, по калибру не мне чета. Но сама мысль от этого не делается ни менее актуальной, ни менее значительной, ни — что самое печальное — менее труднодостижимой. В своей крайней, доведенной до абсурда форме она звучит так, как ее когда-то сформулировали стоики: «Человек может быть счастливым и на дыбе» — мир не властен над человеком,

пока он сам себе отдает в этом отчет. Бесспорно, как принцип, как руководство к жизни эта мысль рассчитана на людей каких-то совсем уж титанических масштабов, людей уникальных по величию и силе духа, были ли действительно такие в истории — сомневаюсь, думаю, что вряд ли. Для человека с улицы она неподъемна, и в этом смысле ей место скорее в кунсткамере, чем в повседневном житейском обиходе. Но кое-что в этой системе рассуждений могло бы быть полезно и обычному, рядовому человеку со всеми его страстями и слабостями, могло бы уберечь его от ненужных страданий и несчастий, на которые он по большей части напрашивается сам, без всякого толчка извне, сохранить ему силы если не для счастья, то хотя бы для душевного равновесия, некоей удовлетворенности собой, а значит, и окружающим миром — наверное, это и есть единственно возможное, единственно достижимое счастье, по крайней мере здесь, на земле... Всеобщая борьба? Нет, хватит и борьбы с самим собой, да еще не забудь о тех немногих, кто так или иначе зависит от тебя — вот, наверное, все или почти все, с чем я пришел к концу своей жизни. Убогая программа, не так ли? Нет, не убогая — самая тяжелая из всех возможных программ, и не случайно лживый, изворотливый человеческий ум вместо нее все время подсовывает какие-то суперидеи и планы, потому что всеобщая идея — это как раз то, что требует усилий и страданий не от меня лично, а от других, а меня лично, даст бог, — ясно же, что я умнее и хитрее других! — эта идея когда-нибудь, может быть, даже и вознесет: ведь, естественно, я буду руководить, а выполнять — нет, это уж, пожалуйста, вы бросьте, выполнять, конечно, буду не я, на это есть другие, я-то один, а их, как известно, легион... Кроме того, эта программа требует, пользуясь терминологией Марка Аврелия, абсолютной честности «наедине с собой», а что может быть труднее для человека, чем не врать самому себе?

...Начало всей этой истории надо отнести к той зиме с сорок седьмого на сорок восьмой, когда я только что закончил свою книгу — о ней, если помните, я уже упоминал. Дело было в одном городке неподалеку от Хабаровска, мы сидели на камеральных работах, обрабатывали материал, полученный во время летних экспедиций: если память мне не изменяет, готовили мелкомасштабную карту какого-то глухого, гористого района, очень важного, однако, в оборонном отношении. Поначалу, помню, запарывали один лист за другим, приходилось по несколько раз переделывать, и не из-за спешки, а большей частью по неумению: горизонтали на листах сплошь и рядом ложились столь густо, а расстояние между ними было столь мало, что у некоторых наших чертежниц — это были, как правило, молоденькие девочки, вольнонаемные, приехавшие сюда за длинным рублем или в расчете выйти наконец замуж — очень быстро начинали болеть глаза и кривоножка от напряжения сама собой вываливалась из рук.

Но вообще-то работали не торопясь, с ленцой: городок был по крыши завален снегом, вставали поздно, ложились рано, развлечений почти

не было никаких, время тянулось медленно, как во сне. Картчасть, начальником которой я тогда был, располагалась в уютном, добротном срубленном бараке, у меня был свой крохотный кабинет, одну стену которого занимала печка с заслонкой, я подтапливал ее сам и сам же кипятил себе чайник, стоявший обычно на подоконнике, в маленькой лужице от наледи, медленно, капля за каплей оттаивавшей от тепла — хватало на целый день, а за ночь она нарастала вновь. Окно мое всегда было плотно затянуто толстым слоем инея, и мне приходилось по нескольку раз в день дышать в одно и то же место, а потом долго скрести иней ногтем, чтобы сделать дырочку в стекле и иметь возможность хоть так, изредка, взглянуть на белый свет. Подчиненные не очень докучали мне, я вволю дымил в одиночестве трубкой — у меня тогда было около десятка хороших трубок, первую из них я еще, помню, выменял на что-то в тюрьме, она и сейчас лежит у меня в столе — и писал, писал до самозабвения, сохраняя полную убежденность в том, что, во-первых, я ни у кого ничего не ворую и никакого служебного времени не трачу зря, что, наоборот, жизнь мне гораздо больше должна, чем я ей, и, во-вторых, что моим сослуживцам никак невозможно догадаться, чем я в действительности занят здесь, за закрытыми дверьми. Последнее убеждение, однако, как показали недавние события, было ошибочным: они все прекрасно знали, только виду не показывали, опасаясь, вероятно, как-то испортить весьма неплохие отношения, которые у нас установились сами собой, без всяких видимых усилий как с их, так и с моей стороны.

Мы с женой и сыном снимали в тот год две комнаты в доме у одного одинокого старика, когда-то, в гражданскую, воевавшего в этих местах, а потом осевшего здесь же, как он говорил, «на тягло» и работавшего возчиком на лесоскладе. Старик был неглуп, только пил много и во хмелю тяжелел, мрачнел, а когда совсем уж перебирал, то становился слезлив и даже неприятен. Иногда я, для поддержания тишины и согласия в доме, сам ставил ему бутылку спирта, он наваливал миску ядреной кочанной капусты, резал сало, хлеб, и мы вдвоем распивали эту бутылку до конца, беседуя о том о сем. Как я теперь понимаю, он тогда весьма добросовестно и по-своему талантливо учил меня жить, только вот материал ему попался, к сожалению, неподходящий: нередко он сердился на мою неподатливость, но был терпелив и дела своего не бросал, вновь и вновь возвращаясь в этих застольях к одному и тому же. «Что тебя все носит? Таскаешься, таскаешься — и все зря.. — говорил он. — Бродяга ты... Нет в тебе ни солидности, ни должности настоящей... Погоны снимаешь — садись здесь, портфель тебе дадут, здесь же и померешь, когда срок придет... Земля крепка могилами, где погосты, там и жизнь... Понял? Нет, скажи — ты понял? То-то... Сибирь обживать надо... Я тебе дом свой продам, хочешь? Мне все равно скоро помирать...» Распорядившись так собой, он вздыхал, замолкал, голова его свешивалась, по щеке скатывалась слеза, и кончалось это все всегда ка-

кой-то тягучей, заунывной песней, каждый раз той же самой, другой я от него не слышал, после чего я обычно не выдерживал — уходил.

Зарабатывал я тогда много, в смысле снабжения в городке тоже было очень неплохо: мы проходили по какому-то особому списку, кроме того, у меня, естественно, был офицерский паек, да и жена тянула в школе не одну, а две ставки, преподавала в старших классах и географию, и историю одновременно, и не из жадности, конечно, а просто потому, что в тот год не смогли найти специалиста историка и уговорили ее, все-таки как-никак — Московский университет: пришлось ей, что называется, на ходу осваивать целый курс. Молодец, она сумела откопать в этой дыре у какой-то древней старушки петербургских, видимо, происхождения, застрявшей здесь еще с прошлых времен, великолепную историческую библиотеку, включая Устрялова, Соловьева, Костомарова, Ключевского, — в конце концов мы купили эту библиотеку всю на корню, и она до сих пор со мной... Интересно, кому она достанется после меня? Сын? Сын очень хороший, очень неглупый человек, но он морской офицер, все время в плавании — на кой черт она ему? Да, честно говоря, и не для служивого человека такое чтение — расслабляет, а им этого нельзя... Вечера напролет жена запоем читала, переживала все это неожиданно свалившееся на нее богатство, втравива в это дело и меня — я тоже увлекся не на шутку. Даже сейчас, когда, закрыв глаза, я оглядываюсь назад, во мне с прежней силой оживают ощущения той зимы, и будто вновь все, как прежде, когда в полутьме по углам нашей комнаты, куда не доставал свет от настольной лампы, толпились, спорили, грозились нам оттуда кто перстом, а кто и кулаком вероломные Шуйские, спесивые Милославские, дикие, разбойные или, наоборот, утонченные донельзя-Голицыны, когда тупой убийца Бирон или хитрюга Остерман, или методичный бюрократ, великий технолог власти Бестужев-Рюмин были для нас с ней, по существу, реальнее, ближе, чем все другое вокруг, — морозная стылая темь за окном, скрип полозьев по снегу, кряхтенье старого деревянного дома, сменившего на своем веку многих хозяев... Ближе, чем даже крики и смех собственного сына, заигравшегося с мальчишками допоздна где-то там, на краю оврага, разделявшего нашу улицу пополам... Было, все было! И все, что есть, было, и все, что будет, тоже уже было... К этому выводу я пришел именно тогда, а было мне в ту зиму не так уж много — всего сорок один год.

Но главным, конечно, и для меня, и для нее была моя книга. Жили мы с ней довольно замкнуто, у нас бывали, и то очень не часто, всего два-три человека, сын с малых лет проявлял редкую самостоятельность и почти не требовал присмотра: сам готовил уроки, сам, не спрашивая нас, гонял где-то по полдня на лыжах, мы и не знали, где, сам разбирался в своих маленьких обидах и конфликтах, которых, объективно, даже в детстве у него было немного — товарищи любили его, в этом смысле ему, надо сказать, всегда везло... Про книгу мы говорили с ней утром, когда вставали, о книге же мы говорили и вечером, когда сын уклады-

вался спать, а мы долго еще сидели за столом. у настольной лампы: что я еще написал сегодня, куда все поворачивает, как должен, а как не должен поступать тот или иной из тех, кого она уже знала не хуже, чем я. Жена болела за книгу, пожалуй, даже больше меня самого: я еще сомневался, я еще никак не мог решить для себя, графоман я или не графоман, — а вдруг это все чудовищная ошибка, ослепление, бывает же так с людьми, ведь недаром говорят «ошибка всей жизни», значит, может быть ошибка масштабом в целую человеческую жизнь; где гарантия, что именно это и не происходит со мной, разве могу я быть беспристрастен, разве я сам себе судья? — а она уже поверила и в меня, и в книгу окончательно и бесповоротно, оценила ее по самому высокому счету и потом до самой своей смерти никогда, ни на йоту от этой оценки уже не отступала. Должен сразу сказать: она была права.

О чем была книга? Это деликатный вопрос, и, я надеюсь, что к концу рассказа читатель сам поймет, почему я не хочу ничего говорить ни о ее сюжете, ни о содержании. Скажу только, что, как и все книги такого рода, она была о людях, о жизни, в ней почти не было политики, но зато много было житейских наблюдений и размышлений, то есть того, что трогает и волнует каждого человека, и именно поэтому она имела такой успех, когда вышла в свет.

Повторяю, политики в ней почти не было, и не было даже не потому, что времена тогда были трудные, очень трудные, опасные были времена, а потому, что внутренние меня всегда интересовали не какие-то гигантские исторические смещения — я достаточно наглядился на них и знаю, что они не зависят ни от меня, ни от тех людей, которых я каждый день встречаю на работе, на улице, с которыми я бок о бок прожил всю свою жизнь, — а человек, если хотите, один человек: как он родился, как и чем он жил, как он умрет. Более того, до сих пор я сохраняю подозрение — нет, не подозрение, а скорее убеждение, — что все эти гигантские смещения есть только рябь на поверхности огромной толщи жизни, а сама жизнь на самом деле заключается не в них, а в чем-то другом, в том, что происходит каждый день со мной и с моим соседом, и даже не в этом, а в том, что происходит **во мне**, именно во мне и в миллионах таких же, как я, которым тоже надо каждое утро вставать на работу, пить, есть, растить детей, думать о близких, тянуть свой воз, пока есть силы, и в конце концов умирать.

В книге было всего одно место, где я позволил себе подняться, так сказать, на макроуровень, и это-то место и сыграло для меня роковую роль. Один из моих героев, старый инженер, выведенный из себя какой-то явной служебной бестолковщиной и понимая в то же время, что нет и не может быть никакого выхода из создавшегося тупика и единственное, что остается, это смириться с тем, что есть, в сердцах бросает своему собеседнику: «По натуре я, видимо, анархист. Я не люблю всякую власть: прошлую, нынешнюю, будущую — мне все равно. Но я не слепой, я же вижу, что без власти нельзя, без нее будет еще хуже, все

развалится к чертям собачьим — только и всего. Как там у Пушкина? «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...» Так вот, я его видел и, признаюсь, больше видеть не хочу. Вот потому-то я и служу верой-правдой этой власти и буду служить, пока не подохну или пока меня не поставят к стенке...» По-моему, достаточно лояльная и конструктивная позиция, не так ли? Особенно, если смотреть сегодняшними глазами... Однако в то время рассуждали иначе: нечего и говорить, что, когда книга вышла в свет, это место в ней было опущено все без остатка, совсем.

Эх, какое же это все-таки великолепное было время для меня — зима с сорок седьмого на сорок восьмой! Если я и жил когда-нибудь полной грудью, если я хотел когда-нибудь, чтобы время остановилось и не двигалось с места — так это было именно тогда. Не нужно мне было ничего, никакого будущего, пусть только эти люди, голоса, эта жизнь, которой я населил толстую общую тетрадь, с утра до вечера лежавшую у меня перед глазами, останутся со мной. И не на время! Нет, не на время — навсегда. Я не только сознавал — я нутром, печенками, спинным хребтом, наконец, чувствовал, что я живу сейчас, именно сейчас, а не в прошлом или будущем, где мы обычно живем всю свою сознательную жизнь... Э, да что об этом говорить... Под конец я даже начал, кажется, понемногу сходить с ума: я стал заговариваться, путать реальных и выдуманных мной людей и временами терять всякое представление о том, где и с кем я нахожусь. В одну из таких минут жена, придя в ужас от моего почти уже бреда наяву, сказала: «Ну, все, хватит. Еще немного — и ты спятишь. Я не хочу жить с помешанным... Надо наконец выносить это все на люди...»

Почему я, дурак, не послал сразу рукопись в какую-нибудь редакцию? Зачем мне понадобилось проверять себя на ком-нибудь еще? Мало мне было жены? Видимо, мало. Видимо, иначе, несмотря на весь подъем, в котором я тогда жил, мне было бы не побороть глубокой, не поддающейся никакому контролю неуверенности в себе, так часто заставлявшей меня просыпаться по ночам в холодном поту... Конечно, то была дьявольская случайность. Впрочем... Как знать... Случайность, конечно, случайностью... И тем не менее с каждым случается именно то, что удивительно ему подходит, — мысль не моя, мысль Хаксли, но как же часто за свою теперь уже долгую жизнь я убеждался в том, что она верна...

В мае сорок седьмого я перенес острейший аппендицит, еще немного бы — и мне конец, перитонит был мне гарантирован. Спас меня хирург местной лагерной больницы — вблизи городка тогда располагался довольно крупный лагерь, интересно бы посмотреть, что сейчас осталось от него? — человек умелый, решительный, лет тридцати или чуть побольше, с голубыми ясными глазами, шапкой белокурых волос и открытым, охотно улыбающимся лицом. Естественно, я испытывал тогда чувство глубокой благодарности к нему, кроме того, мне всегда были инте-

ресны люди, так явно ни в чем не похожие на меня: он прекрасно пел песни под гитару, здорово, просто восхитительно здорово ел,— моя жена очень любила готовить именно ему, он был, пожалуй, единственным, кто мог по достоинству оценить ее кулинарные способности, так никогда и не раскрывшиеся до конца,— мог усидеть бутылку спирта и остаться на ногах, только глаза его при этом наливались кровью, но речь оставалась связной и твердой, по слухам, переспал не только со всеми своими сестричками, но и со всеми моими чертежницами тоже, был охотник, спортсмен, кутила, приятель всему городу и, ко всему прочему надо признать, был неглупый, думающий человек — каким-то образом среди всей этой кутерьмы он умудрялся еще и успевать читать книги, и, я знал, не только детективы. Единственное, что меня корбило в нем,— его неизлечимое, постоянное гыканье, но в конце концов я и к этому привык.

Вот ему-то, после долгих размышлений, я и решился первому показать то, что я сделал. Расчет был простой и, я бы сказал, в принципе довольно верный: вот так, головой, с размаху — бух в омут, выдержу — хорошо, не выдержу — туда мне и дорога. С другой стороны, если уж ему, человеку, несомненно, благожелательному и в то же время совершенно несхожему со мной в своих привычках и образе жизни, будет интересно,— значит, все в порядке, значит, лучше или хуже, но меня поймут и другие, ну, а уж дальше что — это, как говорится, моя забота. Помню, он сразу очень серьезно отнесся к моей просьбе, не удивился ничему, только поморщился немного, увидев, что все это пока от руки,— для меня же перепись на машинке была в тот момент слишком уж значительным шагом, требовавшим дополнительных усилий над собой, да и не хотелось печатать здесь, в городке, где меня тоже все знали,— сунул рукопись под мышку и пообещал вернуть ее никак не позже, чем через неделю. Доктор был человек слова: через неделю, день в день он был у меня.

Этот вечер, как сейчас, стоит у меня перед глазами: ничего более значительного — я имею в виду событийную сторону жизни — со мной не случилось ни до него, ни после него. Помню, как был накрыт стол, помню, где сидел доктор, где я, где жена, помню, как мы смеялись, болтали о всяких пустяках, откладывая, по молчаливому обоюдному согласию, разговор о важном на потом, когда мы останемся вдвоем,— жена с самого начала заявила, что они с сыном попозже бросят нас ради какого-то трофейного боевика, о котором уже неделю только что и разговоров было в городке,— помню даже, что я чуть ли не с момента его прихода уловил в нем что-то необычное, мне показалось, какую-то растерянность, нерешительность, что ли, но после первого же стакана эта нерешительность исчезла, и он опять стал самим собой — четким, собранным, уверенным в жизни и в себе. Когда жена, пожелав нам хорошо провести остаток вечера и не очень все же налегать на спирт,— была пятница, завтра предстоял обычный рабочий день,— закрыла наконец за

собой дверь, он выложил из кармана вчетверо сложенный лист бумаги, положил его перед собой и, твердо, ясно глядя мне в глаза, сказал:

— Георгий Михалыч, ты меня знаешь, я не люблю петлять вокруг да около. По мне лучше нож, лучше сразу проткнуть нарыв, чем мучиться со всякими припарками, от которых все равно никакого толку... Один раз я тебе спас жизнь? Надеюсь, ты не станешь такое отрицать?.. Только получается, что на этом не кончилось... Приходится, вижу, и в другой раз тебя спасать... На, прочти. Это копия. Предупреждаю, что оригинал уже запечатан в конверт и лежит у меня в сейфе...

Ничего не понимая, я развернул протянутый мне лист. В углу было напечатано: «Районному уполномоченному...» Ниже шел текст: «Считаю своим гражданским долгом довести до Вашего сведения, что в нашем районе мною обнаружены факты вражеской контрреволюционной пропаганды...» Дальше шла моя фамилия и прочие данные обо мне, сообщалось, что рукопись у меня изъята, что в настоящее время она находится у нижеподписавшегося и может быть представлена, куда следует, в любой момент, а в качестве примера ее вредительской направленности цитировалось то самое место, которое я уже приводил здесь, включая и слова Пушкина. Внизу стояла полная подпись автора докладной.

— Прочел? Чувствуешь, чем пахнет? — расставив локти и навалившись грудью на стол, продолжал он нарочито прямо, не отрываясь, смотреть мне в глаза. — Я тебе скажу... Не столько тебя... Мальчишку твоего и жену твою жалко — им-то за что страдать?.. Ну, так вот... Мои условия следующие: рукописи этой нет и никогда не было, место ей в печке, куда я сам ее и засуну в ближайшие же дни, а конверт этот я на всякий случай еще подержу — черт тебя знает, что ты еще выкинешь... Когда отлежишься, придешь в себя, поймешь, что я прав — как говорится, милости прошу к нашему шалашу, я с тобой ссориться не намерен... Тем более из-за такой чепухи...

Комната, он, окно — все закачалось, поплыло у меня перед глазами: сказал я что-нибудь или нет — не помню и не помню, как я очутился у портупей, висевшей на стене... Помню только, что кобура никак не поддавалась, не расстегивалась, пальцы мои дрожали — в ту же секунду чудовищной силы удар чуть не перешиб мне руку у запястья...

— Не балуй, дурень. С пистолетом, сам знаешь, шутки плохи... — миролюбиво, даже добродушно проворчал он, оттаскивая меня от стены к дивану: он был на целую голову выше и намного крупнее меня. Потом он расстегнул кобуру, вытащил из пистолета обойму и положил ее себе в карман. Уже одевшись, в дверях, он еще раз повернулся ко мне:

— Будь здоров... И поберегись: с ума сойдешь — на меня не рассчитывай, это не по моей части... Предупреждаю: конверт я сегодня же сдам на хранение своему фельдшеру. Так что, если опять за пистолет схватишься, учти...



Потом... Что было потом? Помню белое, без кровинки лицо жены, сидящей на диване, ее руки, зажатые в коленях, губы, почти беззвучно повторявшие одно и то же: «как же так... как же так... так же не может быть...», помню тиканье ходиков в простенке у двери... Помню острый, захватывающий дух холод улицы, по которой я бежал, темноту, сугробы, тоненький серп луны над головой, помню дерматинную обивку на двери барака, где жил доктор, торчащую из нее паклю, ожог на пальцах — я схватился за дверную ручку голой рукой, клубы кислого пара из коммунальной кухни в конце коридора, фигуру доктора в дверях его комнаты, его быстрый взгляд по сторонам — не видят ли соседи... Помню, что я что-то лепетал, просил его, умолял, клялся, в конце концов повалился ему в ноги — помню колени в галифе, за которые я хватался, помню его домашние тапочки без задников... Все было тщетно. Через неделю мы с женой узнали, что он взял отпуск и уехал в Россию. Из отпуска он не вернулся, и больше я его никогда не видел.

Нельзя сказать, чтобы я так сразу и сдался: нет, по-своему я боролся до конца, мне не в чем себя упрекнуть, я сделал все, что мог... Мне стоило огромного труда восстановить рукопись заново, — легко себе представить состояние, в котором я тогда находился, — но я это сделал и после перепечатки сразу же послал ее в один из сибирских журналов. Спустя несколько месяцев мне пришел отказ, а в какой-нибудь другой журнал я ее послать уже просто не успел: весной следующего года моя книга вышла в свет под фамилией доктора, под которой она и живет в литературе до сих пор. Успех она имела большой. Многие еще и сейчас помнят ее, и даже новое поколение, как я имел уже случай не раз убедиться, читает ее и читает, надо сказать, не без интереса.

Что я еще мог сделать? Пойти на крест? Ради идеи, ради главного, так сказать, дела своей жизни? Нет, это был не выход. Рукопись это не только бы не спасло, а, наоборот, скорее всего окончательно бы погубило — сгрызли бы ее в конце концов мыши в подвале какого-нибудь архива, ну, а что мне самому в таком случае, по всей вероятности, не жить — об этом, по-моему, и говорить не надо. И, думаю, даже не это остановило меня тогда. Я боюсь боли, боюсь мучений, — а кто их не боится? Но умереть с достоинством я, наверное, могу. Было два-три случая в моей жизни, во время экспедиций, когда мне приходилось смотреть смерти в глаза — ничего, выдержал: помню, тело как-то сразу подбиралось, голова пустела, весь я вытягивался в нечто прямое, устремленное в одну точку — ну, что ж, прямо — так прямо, в лоб, вот она, косая, вот и все, хватит, конец — значит, конец... Страшно было не только и не столько это, страшно было другое — жена и сын.

Сейчас, оглядываясь назад, я иногда думаю: странно как-то, непохоже на других сложилась наша с ней жизнь... Ведь я, можно сказать, не любил ее в начале, жалеть — жалел, а любить — нет, начинали мы с ней не с этого, само слово это было в нашем с ней случае не очень-то уместно, по крайней мере с моей стороны, и мы оба понимали, что это так. Да

и встретились мы с ней, и поженились как-то не по-людски, не так как все: тридцать пятый год, узловая станция в степи, в Казахстане, осень, дождь, подтеки на окнах, сарай — не сарай, барак — не барак, какая-то развалюха, только и название, что вокзал, телеграфист стучит за перегородкой, тусклая лампочка, мешки, сапоги, дым, мат-перемат, уголовники в углу куражатся — выпустили после очередной амнистии, цыганки с детьми, толстые бабы на лавках, пьяные мужики — и она, тоненькая, хрупкая, сжалась, спряталась, таращит глазенками: убьют — не убьют, а все равно страшно, и до места назначения еще ехать и ехать, а что там будет, одному богу известно, глушь, степь, тоска... На другой день она стала моей женой... Спряталась за меня? Или действительно полюбила? Не знаю... Во всяком случае, не каждая бы выдержала потом ту жизнь, которую ей пришлось со мной вести. Как сезон, так полгода, а то и больше меня нет, черт меня знает, где я там шляюсь, с кем живу, что делаю — я не святой, она это прекрасно понимала. Но никогда она не требовала от меня никаких клятв и обещаний, да и сама, надо сказать, не связывала себя ничем... Впрочем, по-моему, ей это и не нужно было... Не знаю, так до самого конца я ни разу и не спросил у нее, была ли она мне верна, нет ли... Да какая, в сущности говоря, разница? Разве это важно? И разве в этом жизнь?

К старости у многих людей — и я в этом смысле не исключение — особенно сильно начинает болеть совесть. Старость, помимо всего прочего, в том и состоит, что твои проступки, давно уже пережитые и, казалось бы, успешно забытые навсегда, вдруг оживают ни с того ни с сего с новой силой, преследуют, мучают по ночам, и ладно бы только по ночам — в конце концов есть же снотворное, — нет, иной раз и прямо, что называется, на свету, посреди бела дня: сидишь, смотришь в окно или тихо-мирно читаешь газету, все спокойно, все хорошо, и вдруг как кольнет, как вонзится что-то в самое сердце — дыхание сразу останавливается, на лбу проступает пот, хочется куда-то бежать, где-то спрятаться с головой от самого себя, отбиться, отмахнуться от этого наваждения... Но как отмахнуться? Нет никакой возможности от этого отмахнуться, и лекарства никакого тоже нет, никакой водкой то, что было, не зальешь, а молиться... Кому молиться? Кого молить о прощении? Вот в чем весь ужас-то: некому молиться, некого просить о прощении, кроме как самого себя... Я не хочу этим сказать, что я совершил в жизни что-либо особенно уж тяжкое: нет, слава богу, я никого не предал, ни на кого не донес, никого не пхнул ногой, не оттолкнул локтем, к деньгам и власти всегда был, в сущности, равнодушен... И, конечно, не о яблоках речь: если бы еще и такая дребедень всерьез ложилась камнем на человеческую душу — кому ж тогда и жить на Земле?.. Но многое, очень многое мне все-таки хотелось бы исправить в своей жизни, и если уж не исправить, то хотя бы забыть совсем.

Два воспоминания особенно почему-то часто мучают меня. Одно — девушка, тоже топограф, любившая меня в ту памятную алтай-

скую экспедицию, за год перед войной. Два аборта за один полевой сезон... Милое, преданное существо, не надеявшееся ни на что серьезное — у меня уже был сын, — ее глаза и сейчас стоят передо мной, и мне все кажется, что когда она прижималась ко мне, когда гладила, ерошила мои волосы, заглядывая мне куда-то даже не в зрачки, а куда-то в самую мою душу, она все хотела, но так и не решилась никогда сказать, попросить меня — пощади... А я... Что я? Какой здоровый тридцатилетний мужик думает о чем в ослеплении страсти? Но в отместку за все я и сегодня никак не могу отогнать от себя одну и ту же картину: осенний березняк, лошадка идет шагом, я иду рядом с телегой, на телеге сено, тулуп, из-под тулупа выглядывает бледное, почти детское лицо, и глаза ее смотрят куда-то мимо меня в небо... Но иногда она поворачивает голову и улыбается мне слабой, вымученной улыбкой: мне опять удалось уговорить врача местной маленькой больницы помочь нам, и я везу ее после операции домой, в ту деревушку, где мы с ней тогда жили... Что она, как она? Как сложилась потом ее жизнь? И как она помнит обо мне? Ничего не знаю...

Другое воспоминание тоже связано с больницей. Умирает мой отец, умирает медленно, долго, мучительно, уже третий месяц, желтый обтянутый лоб, провалившийся рот, глаза, затуманенные болью, но когда боль отступает, прежний острый, как бритва, ум опять светится в них, а взгляд печальный, каждый раз прощающий со мной, и взгляд этот, как и прежде, видит меня — здорового, сытого, полного каких-то планов, торопящегося жить — насквозь, а мне нечего ему сказать, никаких слов для него сейчас я не знаю, мне тяжело, я мучаюсь, мне неудобно, надоело сидеть на колченогой больничной табуретке, и отвратительная малодушная мысль опять начинает расти, подниматься во мне: скорее бы ты умер, отец, чего ж тянуть, и для тебя было бы лучше, и для других. И от этого мне так тошно, так хочется вскочить и убежать отсюда, что я окончательно замолкаю и так сижу, только глажу его ссохшуюся руку, перебираю пальцы, а он вдруг отвечает мне слабым, еле уловимым пожатием, — мол, понимаю, все понимаю, брат...

Почему именно это, а не другое? Почему, например, я до сих пор не чувствую никакой вины перед женой, хотя умом и сознаю, что я доставил ей немало горьких минут, особенно в начале нашей с ней жизни? Не знаю почему... Не знаю. Положа руку на сердце не знаю... Может быть, потому, что те далекие первые годы успели потускнеть, расплыться в нечто полуреальное, а возможно, и вообще не бывшее никогда еще задолго до того, как мы попрощались с ней в последний раз в углу Даниловского кладбища... «Прошло и не было — равны между собою...» А может быть, и потому, что эти горькие минуты на самом-то деле ничего или почти ничего не значили ни для нее, ни для меня, потому что их действительная величина была ничтожной по сравнению с тем огромным, враждебным, что давило нас с ней со всех сторон — то, что люди называют словом «жизнь», — и что мы выдержали с ней, вероятно,

только потому, что были всегда не поодиночке, а вместе... Любил, не любил — какая же это все в сущности ерунда... Мы ведь прожили с ней не месяц, не год — всю жизнь... Прожили, протерпел, и не было у меня ничего дороже ее, не было ни тогда, когда я еще колдобродил, ни потом, и уж тем более ни сейчас, когда вокруг меня лишь четыре стены и даже кот мой — и тот однажды ушел и не пришел, а нового завести, признаюсь, уже нет больше ни желания, ни сил... Сын? Я уже двадцать лет как не нужен ему, и обижаться на это нечего — жизнь есть жизнь, он не лучше и не хуже других... Книга? А что книга? Сколько этого барахла скопилось на полках у людей, одной больше, одной меньше — какая разница, все равно все они об одном... Вот так: жил, ценил, дорожил, а может быть, иногда и не ценил, забывал ценить, ведь жена всегда была под рукой, рядом, даже, небось, и вовсе не замечал иной раз, есть ли она вообще, нет ли ее, сколько было всякой ненужной изо дня в день суеты — разве теперь расскажешь... А вот ушла — и все, пустота, и оказалось, что другого-то, в сущности, нет и не было ничего, что бы привязывало меня к жизни...

Конечно, теперь для полноты картины мне следовало бы рассказать о том, как я жил все последующие годы — ни много ни мало, тридцать лет, — что я думал, что делал, каких людей встречал, как я относился к ним и как они ко мне... Но делать я этого все-таки не буду. И не только потому, что это утомительно — вновь ворошить свою уже практически прожитую жизнь, силы ушли, я теперь нередко засыпаю просто так, сидя за столом, но и потому, что, убежден, вряд ли это будет представлять интерес для кого-нибудь еще, кроме меня. Что обычно интересно в любом рассказе? Или событие, или мысль. Событий в моей жизни с тех пор, если не говорить о смерти жены, по существу, не было никаких, а что касается мыслей — мысли уже давно вложены в ту единственную мою книгу и хорошо ли, плохо ли уже давно живут своей жизнью... Да и вообще, если бы не эта история, которая побудила меня вновь взяться за перо... Нет, вру: конечно, я не раз с тех пор брался за перо, извел, надо сказать, пропасть бумаги, но каждый раз с грустью обнаруживал, что писать-то мне, по сути дела, больше не о чем, все так или иначе — лишь перепев того, что уже было в той книге. Писать же ради куска хлеба, слава богу, мне никогда не нужно было, теодолит и геодезия вплоть до пенсии неплохо кормили меня, да и того, что я имею сейчас, мне одному — хотя и очень скромно, конечно, — но в общем-то вполне хватает. Могу даже позволить себе роскошь — послать внукам в Североморск по случаю праздника какую-нибудь ерунду...

В прошлый понедельник, под вечер, я сидел у себя в кресле: то ли дремал, то ли читал — не помню. Скорее всего дремал, в последние год-два я уже не столько читаю, сколько дремлю над книгой. Я живу на самом верхнем этаже, и у меня тихо. Пожалуй, даже слишком тихо. Но зато очень удобно с богом разговаривать — до неба рукой подать... Вдруг раздался телефонный звонок, я вздрогнул — я уже давно вздрагиваю, ко-

гда звонит телефон, он теперь нередко молчит по неделям, что поделаешь — некому звонить. Это не жалоба, нет, а просто необходимая, как мне кажется, ссылка на ту обстановку, в которой я теперь живу.

— Георгий Михайлович? Здравствуйте. С вами говорят из группкома союза литераторов... У нас тут возник один вопрос, мы чувствуем, что без консультации с вами нам его не решить... Не могли бы вы принять нашего сотрудника? На часок, не больше... Когда? А когда вам удобно?.. Хоть сегодня? Очень хорошо. Давайте сегодня — нас это тоже устраивает... Значит, договорились: наш товарищ подъедет к вам сегодня, часов около семи. Время вам подходит? ...Вы, если не ошибаюсь... Так, пишу: Тверской бульвар, Малая Бронная, дом номер...

Ровно в семь в дверь позвонили. Гость оказался помятым, потертым человеком с большой лысиной и остатками волос, уложенных поперек черепа, с животом, в руках у него был портфель, в кармане сложенная газета, костюм серый, дешевенький — вид служивый и не скажу, чтобы очень симпатичный. Я проводил его в большую комнату, пододвинул ему стул: он уселся, водрузил портфель к себе на колени, вытащил из него пачку каких-то бумаг, скрепленных канцелярской скрепкой, потом поставил портфель рядом с собой на пол, вплотную к ножке стула...

— Итак, чем могу служить?

— Георгий Михайлович, дело довольно тонкое, и без вашей помощи нам, по-видимому, не обойтись... Дело вот в чем... Мы знаем, что автором одного достаточно известного романа являетесь вы, а не писатель Н... Скажу вам даже больше: мы знаем об этом, если не ошибаюсь, уже лет двадцать пять — не меньше...

— Так... Вон оно, значит, что... Откуда?

— Сейчас скажу... Мир не без добрых людей, Георгий Михайлович... Спустя несколько лет после выхода романа в свет мы получили сигнал из известного вам журнала, что автором книги, о которой идет речь, на самом деле являетесь вы, а не он. Письмо было подписано, и в нем были указаны некоторые ваши основные данные... Поэтому-то, кстати, мы и не потеряли вас из вида... Потом был сигнал, правда, анонимный, от ваших бывших сотрудников по картчасти. Мы, конечно, проверили и его... Потом ваша покойная жена за несколько лет до своей кончины рассказала всю эту историю одной своей приятельнице. Это тоже стало нам известно... Так что, как видите, свидетельств хватает, — он похлопал ладонью по пачке бумаг, лежавшей перед ним. — Но все они, к сожалению, носят... как бы сказать... косвенный характер. Нам теперь нужно одно: ваше собственное заявление с подробным изложением обстоятельств всего дела.

— Интересно... Интересно... Позвольте тогда вопрос: а раньше-то где вы были? Сами же говорите: столько лет...

— Вопрос, конечно, законный... Хотя, прямо скажем, не такому умному человеку, как вы, казалось бы, его задавать... Что вам сказать, Георгий Михайлович? Люди есть люди, жизнь есть жизнь... Времена бы-

ли непростые, а книга была нужная, хорошая была книга, таких тогда немного выходило. Бросить тень на нее — кто бы решился тогда на это? Нас бы не поняли, Георгий Михайлович, уж кому-кому, а вам это и без разъяснений должно быть ясно. Недаром вы сами не давали о себе знать все эти годы... Да и мнимый автор ее тогда был в большом фаворе, человек он, сами знаете, энергичный, хваткий, такого голыми руками не возьмешь...

— А сейчас?

— Сейчас? Сейчас другое дело. И времена другие, и он уже не тот — постарел, обмяк... Много пьет... Ведь он так больше ничего и не написал с тех пор...

— И что же... Если я напишу заявление... Справедливость, так я вас понимаю, будет восстановлена?

— Непременно, Георгий Михайлович! Непременно будет восстановлена... Надеюсь, вы понимаете, что без предварительных консультаций там, где надо, я бы к вам не пришел. Дело теперь за вами...

— А если я не напишу такого заявления? Тогда что?

— Как то есть не напишете? Я вас что-то не понимаю... Почему же не напишете? Вам что, безразлично, чье имя будет на книге — ваше или этого проходимца? Не говоря уже о деньгах...

— Не знаю... Для меня это все как снег на голову... Дайте мне опомниться... Подумать... Я, наверное, позвоню вам на днях...

— Обязательно позвоните. Я буду ждать... Очень ждать вашего звонка. Запишите мой телефон... И мой вам совет: не откладывайте в долгий ящик. Конечно, над нами с вами не каплет, но ведь все, как говорится, под богом ходим. Мало ли что...

После его ухода я, конечно же, провел бессонную ночь: нашлась где-то в ящике стола пачка сигарет, дымил, пил воду, ходил из угла в угол... Собственно говоря, когда он еще сидел за столом, я уже знал, как я поступлю. Но ведь надо же было обосновать свое решение, убедить самого себя, что это не причуда, не блажь выжившего из ума старика, а естественный, так сказать, итог половины, да что я говорю половины — по сути дела, всей моей жизни... Месть? Отомстить, наконец, негодяю, хотя бы под занавес, на краю могилы? А зачем? И он, и я уже прожили жизнь, ненависть давно потухла, я уже давно привык к тому, что все сложилось именно так, а не иначе... Да и вряд ли доктор так уж был счастлив все эти годы: тридцать лет знать, что ты ничтожество, что ты живешь на ворованное, каждый день лгать, изворачиваться, щеки надувать, напускать на себя значительный вид — нет, не хотел бы быть на его месте! По ночам-то, небось, суй — не суй голову под подушку, а от себя никуда не денешься, разве что бутылкой себя оглоушишь, свалишься снопом, но ведь это же не день, не два — всю жизнь... Люди? История? Мое имя? Господи, это-то совсем уж чепуха... Кому какое, по правде говоря, дело, кто написал эту книгу — я или он? Как меня в действительности звали, как я жил?.. Какая, скажите, разница — Шекспир или

Френсис Бэкон? Нет, на самом деле — какая разница? Да никакой. Никакой разницы. Разве что для десятка-другого профессионалов, которые кормятся либо от того, либо от другого из этих имен... Для меня же лично... Для меня? Что для меня? Моя песенка, как ни крутись, спета — восьмой десяток, тут уж, как говорится, не до иллюзий. Сколько мне еще осталось? Ну, год, ну, два от силы — больше, вероятно, я не протяну: сердце уже никуда не годится, и все чаще по утрам охватывает такая слабость, что прямо хоть сейчас ложись и помирай. Нет никакой возможности выбраться из-под одеяла и доползти хотя бы до ванной, лежу, глядя в потолок, до полудня, а то и дольше, надо бы встать, да сил никаких на это нет... Не могу же я в самом деле верить, что там, куда я скоро уйду, сохранится хоть какая-то связь между тем, что останется от меня — если от меня вообще что-либо останется, — и тем, что будет здесь после меня, включая и такую, в сущности, безделицу, как вопрос о том, кто же в действительности был автором одной из многих десятков тысяч книг. Всего поколения — два, и о ней, по всей вероятности, уже и помнить-то никто не будет. Грустно, но что поделаешь: сидеть на краю облачка и поглядывать, как там внизу, на земле, идут без меня дела, — нет, на что другое, а на это надежды нет никакой. Все эти миллионы галактик, миллиарды световых лет и всякие там шестые измерения к лучшему ли, к худшему, но уже лишили человека надежды на такой эгегический исход... И еще одно для меня, может быть, самое важное соображение... Унизительно все это... Такое ощущение, что подай я это заявление — я тем самым тоже распишусь в собственном ничтожестве... В том, что сама по себе, без этой книги, моя личность была недостаточна для того, чтобы жить на земле... Выходит, что только книга оправдывает мою жизнь, мое существование среди себе подобных, мое право на то, чтобы дышать и думать? Что без нее я — так просто, дерьмо, и больше ничего? Ну, а если бы я ее вообще не написал — что тогда? Я ведь прожил семьдесят с лишним лет — и что же, это все был навоз истории, мусор на гигантской человеческой стройке, какой-то обломок битого кирпича, которого и вообще-то могло и не быть? Может быть, так оно и есть на самом деле, более того, скорее всего именно так оно и есть, но я-то с этим согласиться не могу! Даже перевалив на восьмой десяток и зная подлинную, прямо скажем, плевую цену отдельной человеческой жизни, — все равно не могу. Гордыня? Гордыня — не гордыня, называйте, как хотите, мне уже стесняться нечего. Ясно, что это последний раз, когда я говорю в полный голос, скоро, надо думать, намолчусь всласть... В тишине и вечном-то покое... Кстати, в этой связи уместен будет и вопрос: зачем я написал этот рассказ? Зачем? А затем, что я писатель. Я писатель, и наконец-то у меня вновь появилось что сказать, не мучаясь страхом за перепевы одного и того же. И не ловите меня на вранье самому себе: учитывая нашу обычную издательскую канитель, я абсолютно уверен, что если это и будет когда-нибудь напечатано, то только после моей смерти.

Через день или два я позвонил человеку, приходившему ко мне. Не буду скрывать, он был очень удивлен, более того, возмущен моим отказом, долго убеждал меня, напирал на совесть, на чувство долга, но я остался тверд. Разговор был тягостным, и мы так и расстались, не поняв друг друга...

Мне вспоминается, как года три назад я сидел в доме отдыха за столом с одним глубоким стариком. Ему было уже за восемьдесят, он был сух, строг, прям, и я невольно ежился под его каким-то странным, немигающим взглядом, который смотрел все время сквозь меня и позади меня, — как потом выяснилось, это были последствия операции по поводу катаракты. Естественно, мы разговорились, стали вспоминать прошлое, у него тоже была нелегкая жизнь — тоже сидел, но в отличие от меня не месяцы, а годы — жена его так и умерла, не дождавшись его возвращения, детей не было, теперь он ждал очереди в дом престарелых, ни родных, ни даже более или менее близких знакомых вокруг него уже не осталось — он пережил всех. Поговорили, конечно, и о болезнях — какая-то, уже не помню, хворь мучила его тогда, — я, разумеется, сказал что-то такое очень бодренькое, что-то насчет того, что это все, дескать, пустяки, от этого не умирают, выглядит он еще молодцом, еще рано, еще только, мол, жить да жить... Он вдруг замолчал, потом поднял на меня свой немигающий взгляд и сказал — медленно, серьезно, обращаясь, как мне показалось, даже не ко мне, а к самому себе: «Нет... Не нужно. Надоело... Пора...»

Помню, я тогда пожал в недоумении плечами — не поверил: как это так надоело? Врет, наверное, старик... Не много же мне понадобилось, чтобы убедиться, что старик не врал, а говорил святую истинную правду! Всего три года... Да нет, даже меньше, ведь и со мной это началось, конечно, тоже не вчера... Надоело, скорей бы — с меня хватит, я тоже устал ждать. Больше мне неинтересно... Я не могу это объяснить, я прошу просто поверить мне... Разве что только воробьи на подоконнике еще иногда развлекают меня или тополь, который вырос на моих глазах до самого верхнего этажа, вровень с моим окном. Но и с ними, я чувствую, я расстанусь без всяких сожалений... Мне хотелось бы закончить одной мыслью, и, прошу вас, не отмахивайтесь так просто от нее: как ни странно, во всем этом тоже есть надежда. Какая-никакая — и все-таки надежда.



## СОДЕРЖАНИЕ

Дело о шубе . . . . .	3
Ночные голоса . . . . .	19
Последний этаж . . . . .	28

Николай Петрович ШМЕЛЕВ

### ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

*Рассказы*

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 25.05.88. Подписано к печати 14.07.88. А 10374. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.  
Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,26. Тираж 150000 экз. Зак. № 2523.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.